

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 11

1980



Павел ФЕДОРОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

НА ПОБЫВКЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 11

Павел ФЕДОРОВ

НА ПОБЫВКЕ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1980

Павел ФЕДОРОВ

Павел Ильич Федоров родился 18 ноября 1905 года в поселке Ильинском, Кувандыкского района, Оренбургской области.

Работал сельским корреспондентом. С первых дней Великой Отечественной войны добровольно ушел на фронт. Был командиром конной разведки, командовал сабельным эскадронам особого пограничного кавалерийского полка. Участвовал в боях под Москвой в должности помощника начальника штаба полка по разведке в корпусе генерала Доватора, впоследствии — начальником штаба кавполка. Награжден боевыми орденами и медалями. За заслуги в развитии советской литературы награжден орденом «Знак Почета».

В 1944 году в госпитале в Перми начал писать роман «Генерал Доватор», который и закончил в 1949 году. Позднее вышли романы «В Августовских лесах», «Синий Шихан», «Витим Золотой», повести о пограничниках «Встречный ветер», «Пограничная тишина», удостоенная премии Министерства обороны Союза ССР. После неоднократных поездок по стране написаны романы о родном Оренбуржье, «Агафон с большой Волги», дилогия «Пробуждение» и «Последний бой», повесть «Поле нашей юности», напечатанная в номерах 1—2 журнала «Пограничник» за 1980 год. Романы «Генерал Доватор» и «Синий Шихан» изданы в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, ГДР.

Сейчас П. И. Федоров работает над повестью о пограничниках «Прозрение».

НА ПОБЫВКЕ

«Здравствуй, Андрюха!

Пишет тебе дружок твой и шабер бывший, Алешка Епанчин, с которым ты восемь лет просидел на одной парте, спектакли разыгрывал на школьной сцене, стенную газету со стихами выпускал. Ты теперь вон куда маханул — стал знаменитым пограничником, высокую от нашего правительства награду получил, а кроме того, известную книгу написал о боевых делах пограничников. Мы прочитали ее залпом, и все очень даже довольны остались и гордимся таким своим земляком. Ловко вы пронюхиваете с таможенниками, как иные проходимцы пытаются провезти золотые монетки, советские деньги, бриллианты, закатанные в воск, как вишни, опущенные в банки с компотом. Нам, конечно, невдомек, что и галстук, и женский бантик, электробритва, спичечный коробок, и даже катушка ниток могут служить для перевозки контрабанды, не говоря уже об автомашинах, наштигованных антисоветской литературой.

Хорошая, можно сказать, возвышенная статья напечатана о тебе в нашей областной газете «Урал». Книгу твою мы на читательской конференции обсудили нормально. А раз ты не мог сам приехать, то в президиум посадили твою старшую сестру Александру Ивановну. Ничего сидела, улыбалась да платочком глаза вытирала. Попросила ее выступить с трибуны, а она стесняется, руками отмахивается — тут ей хлопнуть начали. Встала и сказала:

— Без отца рос братик-то у меня... Всегда добрый, ласковый такой, но уж токо очень бедовый и озорной маненько... Вечно с товарищами, с удочками. Табак рано начал у старшего брата таскать... Ох уж и попадало ему за это!.. Чать на всю жись запомнил... А так, что же? Вишь, в люди теперь вышел, офицер...

И опять, как обычно, платочек к глазам... Книгу твою и фото мы у себя в Доме культуры на видном месте вывесили. Я, как директор этого очага, приглашаю тебя, дорогой земляк наш, Андрей Иванович, к нам в гости. Все будет устроено чин чинарем. Отбей мне телеграмму, и я выйду к поезду, а то и духовой оркестр на перроне выставлю. Встретим, как говорится, с музыкой...»

Как не поехать после такого приглашения, благо отпуск сорок пять дней. Отказавшись от путевки в санаторий, махнули прямо на ближайший аэродром, и в Москву. До областного своего города летел на пузатом, надежном АН-10, который хорошо садится на грунтовом поле, а дальше поездом — шесть часов с небольшими минутками. Хотелось поторопить поезд, потому что не был я дома более пяти лет.

Давно уже солнце в вагон заглянуло, пригрело потрепанный журнал «Огонек». Пытался читать, не читается, за окном голубой ленточкой мелькнула заросшая кустами речушка — не узнал какая. Может, Сакмара, а может, и Кураганка. Горы над ней вздыбились, будто вдвое выросли против прежнего... Ничего не узнать! Чуть ли не на каждом полустанке трубы буравят небо, серые громады элеваторов, а за ними розовые, многооконные здания — стоят и весело обмахиваются молодыми, густолиственными кленами. Скоро моя станция Кураганская. Узнаю ли? Обидно, когда родные твои места начинают казаться чужими.

«Интересно, какой сейчас там буфет?»

Наша Кураганочка всегда славилась крупными, белыми, как головы аксакалов, арбузами и необыкновенно вкусным в буфете борщом. Здесь я впервые отведал ароматного борща, когда ехал семь лет тому назад на областной слет селькоров. Узнаю ли свои любимые места? Петровку родную, где все было изначально впервые: и первые горести и радость первой любви. Разве можно забыть бойкий танец полечку на вечеринке, когда, не выпуская горячих рук, протискивались плечом сквозь такие же горячие, молодые тела, ныряли в прохладную темноту сеней и обжигались в первых поцелуях так, что потом все танцевальные фигуры начисто перепутывали!

Зиночке — первой своей любви — я подарил к майскому празднику душистое мыло, выменьянное у знакомого продавца на потребиловке на «одолженные» у кур яйца... Тогда же, на Красную горку, заявил снохе Насте, что намерен жениться.

— Ишо чего вздумал, дурачок ты этакий!

Осиротели мы в войну, а Настя овдовела и стала нам вместо родной матери.

— Почему же дурачок?

— Потому что дураков не сеют, а они сами рождаются...

— По-твоему женятся только одни дураки?

— В твои годы... — Она задумалась.

— А что мои годы? Вы когда с Мишей поженились?

— Тогда было одно время, сейчас другое, да и невеста...

- Что невеста? — спрашивал я озадаченно.
— Девчонка голоногая... О чем ты с ней говорить станешь?
— Как о чем?
— Ты вон по всяким комсомольским съездам да слетам разъезжаешь и вон даже в президиумах сидишь, а ее куда посадишь?
— Вместе учиться станем.
— Сам-то сначала выучись как следоват... А сейчас перестань забивать девчонке голову...

«Как следоват»... Своими тяжелыми словами сноха по-житейски, чувствительно старалась выжить из меня молодые, не успевшие перебродить соки, безжалостно придавливала, как опару в квашне. Да вот не сумела утолкать до конца... Совсем с другой, неожиданной стороны взыграли во мне любовные дрожжи, и я испекся тогда в одночасье... Возвратился с селькорского слета я уже не один, а с молодой девушкой, Жанной, назначенной к нам в Петровку на акушерскую должность. После моей напечатанной в областной газете речи, ловко принаряженной редакционными правщиками, ко мне в гостиницу явился целый хоровод медичек. Они обступили меня со всех сторон, бесцеремонно вертанули, как болванчика, посреди номера, восхитились моими плечами, словно на медкомиссии, ощупали мускулатуру, вслух изрекли:

— Силен!

А одна рыжеволосая, густо покрашенная и самая бесстыжая, вытряхнула все мои папиросы из пачки, закурила и произнесла на малопонятном жаргоне:

— Кадри его, Жанка! Он, видать, мужик идейный! А ты, дружок, купи ей билет в мягкий вагон, найми таксишку и прокати до вокзала так, чтобы искры летели из-под колес. Будь мужчиной, уважь медицине, она едет к вам в станицу и будет принимать на свет божий новых пролетариев. Адью, киномальчик!

И только позже я осознал, что в тот момент стопроцентно походил в узком, не по моим плечам пиджачке, в измятой пилотке с артиллерийским кантом на «киномальчика». Был совсем неискушен и недалеко еще ушел от ребячьего косолапства. А Жанна, только что окончившая медицинский техникум, оказалась с избытком напичканной самыми острыми специями, заимствованными из моднейшей в тот период литературы. Я не устоял перед синеглазым, русоволосым существом в красных спортивных браках, и мы в убыстренном темпе заключили скороспелый брак.

Узнав о моем коварстве, Зиночка вернула мне с подружкой гладкий, душистый обмыльшек. Так несчастно выглядел этот

розовый кусочек, что сердце мое тогда тревожно сжалось, и мне до смерти было жалко Зиночку Сальнову, с ее теплыми, покорными губами и маленькими комочками твердых, незозревших грудей. Все это осталось в запасе неугасимой памяти, сохранилось в грустном, светлом и чистом, как родниковая вода, уголке души.

После женитьбы мы поехали с Жанной к ее родителям. Я не пришелся к тециному двору с первых же дней, да и сама семейная жизнь в этом скороспелом браке как-то сложилась непрочно. Не был я научен «как следоват» городскому обхождению, криво носил галстуки, с подфыркиванием хлебал лапшу и супы, словечки свои станичные ввертывал не к месту, отчего жена и теща затыкали уши; мечтал иметь кучу детей, а они и слышать не хотели о детях, называли меня под горячую руку неотесанной оглоблей... Да и остальные наши понятия о жизни расходились шибко... После того, как Жанна самым жестоким образом прекратила беременность, нас уже ничто больше не связывало — хоть и не сразу и не без боли, но выветрилось, увяло сильное, безрассудное по молодости чувство, надолго оставив в душе горький след... Вскоре ушел я в армию, в пограничные войска, которые полюбились мне на всю жизнь...

Поезд подходил к Кураганке. Грустное воспоминание о прошлом заглушалось тревожным и радостным чувством приближения родного дома. Паровоз замедлил ход и стал реже дышать и пыхтеть. Стук буферов глухим звоном пронизал все вагоны, ударил в самое сердце и замер — встреча с родиной, с юностью сдавливала грудь.

В купе мягкого вагона я остался один, подхватил на руку военный плащ, поправил орденскую планку, взявшись за ручку чемодана, с волнением выглянул в коридор. Раздвигая толпившихся в проходе пассажиров, широко улыбаясь во все круглое, курносое лицо, ко мне наплывал плечистый, коротконогий Алеша Епанчин.

— Андрухал — Он приподнял белесую в крапинку кепку, прикрывающую рыжий чуб-вихор, поправил крупный узел красного галстука и полез лобызаться. У нас в станице лобызались только на пасху, когда христосовались. Сейчас была не пасха, но от Алеша слегка пахло праздничком...

— Милости просим, Андрей Иванович! — не без торжественности произнес Алексей, всем видом своим давая понять, что впереди не то еще будет. Он подхватил мой чемодан и, все так же торопливо расталкивая сердито косившихся на него людей, быстрым шагом направился к выходу. Чтобы немножко смягчить Лешкину бесцеремонность, я решил пройти степенно, с желанием никому не зацепить плечом, не тронуть локтем. Уступил до-

рогу сначала девочке с яблоком в зубах, полноватой даме с высокой прической, очевидно, ее матери, которая недобро отозвалась о нашем кураганском буфете, потом усатому с трубкой дядьке. Хотел было обойти проводницу с прижатой к груди дыней, но в это время на перроне громыхнул духовой оркестр маршем, напомнившим мне слова песни: «На побывку ехал молодой моряк»...

— Встречают кого-то? — разглаживая трубкой усы, спросил дядька.

— Лурейта какого-то, — ответила проводница с дыней.

Смекнув, в чем суть, я сделал поворот налево кругом и, уже не очень церемонясь с ребрами попутчиков, ускоренным шагом двинул в обратном направлении. Сначала проскочил заднюю дверь, затем гармошку тамбура и нажал ручку соседнего вагона... Пока я мысленно бранил Лешку за его фокус с музыкой, вслед мне, как громом, хлестанули еще двумя куплетами из «Молодого моряка»...

Спрыгнув с подножки предпоследнего вагона, я тут же смешался с толпой провожающих, соображая, как бы мне переждать сумятицу с этой нелепой встречей.

Свою Кураганку я хорошо знал. Сойдя с перрона, очутился на площади, где возле ограды пара коней, запряженных в фургон, доедала брошенное на землю сено.

Тут же поблизости каменный забор подпирал своим полукруглым задом «Москвичок» первого выпуска. Опустив ноги на примятый подорожник, в открытой дверце машины сидел дядька и держал скрюченными пальцами большой ломоть арбуза.

Разве можно было не узнать моего одностаничника, культяпого Кольку Молодцова и тем более по такой особой примете? Не донеся кусок арбуза до щетинистого, давно небритого подбородка, он уперся в меня удивленным, неморгающим взглядом, крикнул:

— Эх, едрит твою налево!

— Здравствуй, Николай.

— Здорово! Ты, Андрейка?.. Или не ты?

— Да вроде бы я, Коля...

— Совсем не похож! Ну и ну!

Он укусил ломоть в два торопливых приема, остаток зашвырнул коням, метко угодив прямо в кучу стоптанного сена. Левый, гневной масти мерин, шлепнув губой, подхватил кусок и захрустел кожей.

— Вот так встреча, репей тебе в штаны, а! Ну и везет же мне! К нам, да, Иваныч?

— Домой...

— Потянуло?

— Еще как, Коля!

— Это, лады! Раз такое дело, барана режу! Все! Молодцов не будет держаться за бараний хвост... Вещички-то где?

Я рассказал, как меня с помпой встречал Лешка Епанчин и как я сбежал от его музыки...

— Узнаю Леху! Ну и хват! — Николай расхохотался. — Лады, Андрюша! Садись в мой драндулет. Ты не гляди, что он обшарпанный. Покрасить все никак не соберусь. Прокачу за милую душу. Такая встреча! Сперва к Епанче заедем, чемодан твой захватим, да и нельзя, конечно, вот так запросто от Лехи дезертировать...

Уселся рядом. Колька нажал на газ, и драндулет шустро выкатился на площадь. Мне даже очень было любопытно взглянуть, как Николай машиной распоряжается... Изуродовал он руки, будучи мальчишкой — годков трех-четырёх. Не раз видел, как большие под самоварным краником руки моют. Решил сам попробовать... Отвернул краник, а там оказался крутой кипяток.

Августовское утро разогревалось. День был погожим. У станционного элеватора гудели моторами груженые зерном машины. Шоферы галдели в тени. От площади во все стороны разбегались зеленые улочки. Домики буйно заросли садами до самых крыш. На ветках кучно висели и белые и розоватые яблоки.

Домик Алексея Епанчина, окрашенный зеленью, весело выглядывал острым коньком из заросшего плодовыми деревьями палисадника. Когда-то небольшая башкирская деревня Кураганка, ютившаяся по берегам речушки среди ветел да черемушника, теперь разрослась, как городок: сытно и размеренно томилась в густой прохладе садов.

Сытно было и за столом у Алексея. Рюмки не стояли пустыми, вилкам тоже не давали покоя. Поднимая наполненную рюмку над горкой свежих, пахучих яблок и аппетитным бараньим седлом, подрумяненным в русской печке, Леха уж который раз обижено повторял:

— Понимаешь, Коля, только я прыгнул с подножки вагона, а тут барабанщик как врежет, а за ним трубачи всеми своими медными самоварами во весь голос рванули! Народ, какой случился на перроне, остановился и пялят на меня зенки... Оглядываюсь, понимаешь, а гостя-то тьюу! Я даже чемодан из рук выпустил. Ну, Андрюха, подвел же ты меня под монастырь...

— Сколько с тебя музыканты взяли? — спросил Николай.

— Свои же ребята, клубные!..

— А выставил сколько?

— Да самую малость настроения для... — улыбнулся Алексей во все широкое, простодушное лицо.

— А я тебе, Леха, знаешь что скажу! — Колька, как я заметил, тоже тянулся к хозяину с рюмочкой. А мне предстояло с ним ехать тридцать километров горной дорогой, огибать овражки и косогоры...

— Ну, говори! — Леха благосклонно махнул рукой.

— Сам ты кругом виноват, директор, вот что я тебе скажу.

— Чем же виноват, извиняюсь?

— Тем, что поступил не по-интеллигентному...

— Чего ты мелешь, тоже мне интеллигент нашелся... Из яичной скорлупы, что ли, вывелась твоя интеллигентность!..

— Ты меня яйцами не подъелдыкивай... Гостя положено вперед пропустить, понял? Он должен быть у всех на виду! А ты, едрена вошь, сам передом выщелкнулся, ну и упустил момент...

— Да я же не с умыслом каким,— простосердечно возразил Алексей.

— И без умысла можно дом спалить, аль забаву родить...

Не такой уж Колька был дурак, чтобы не понимать всей нелепости Лешкиной затеи с оркестром. Забыв про меня, они пустились в хмельной, бестолковый спор. Острый на язык Колька подначивал, а Лешка, рубаха-парень, выходил из себя.

— Хватит вам, пустомели! Вот сцепились! Не слушайте их, Андрей Иванович, угощайтесь.

Жена Алексея, Даша, все время подкладывала на мою тарелку то кусок жареной рыбы, то куриную ножку, то ребрышко от бараньего седла.

— А мы так ждали вас! — раскрасневшись, она улыбалась круглым миловидным лицом. Меня покорял ее славный окаящий говорок, и так дорого было наше широкое, уральское хлебосольство.

— Конечно, с этой музыкой мой Леша маненько, наверное, перестарался,— еще пуще краснея, продолжала она.— Уж так ждал, так ждал, столько бегал!.. От нас вы, конечно, прямехонько к своим?

— Да. В Петровку.

— К Шуре?

Я кивнул. Шура — это моя та самая сестра, что сидела в почетном президиуме и делилась своими воспоминаниями, как я похищал у брата табак.

— И в Ольшанке, конечно, остановитесь! Там же ваш племянник Вася, механизатор знатный, недавно награжден орденом Ленина. Как же не поздравить!

— Непременно, Даша!

— А у домиков-то, совсем близехонько, ферма совхозная, там второй ваш племяшек, Игнат Михайлович. Комбайнер! Свою уборку закончили, целинникам помочь поехали.

— Там же и Настасья Мардаревна! — сказал я.

— И правда. Ведь она вам что мать. Я про все это знаю от Лешиной мамы, свекрови моей. А когда книжку вашу получили да еще газету с указом о вашем награждении, так Леша от радости такую гулянку устроил!

Леша увлеченно продолжал спорить с Николаем. Мне надоело их слушать. Хотелось поскорее поехать, вдоволь надышаться чистым, степным воздухом. А на чем ехать? С Колькой на его драндулете? Он тоже поднимал своей культурой очередную рюмку. А ведь он за рулем!.. Я поделился своей тревогой с Дашей.

— Не волнуйтесь, Андрей Иванович! Леша все устроит как надо. Он и насчет машины, кажись, договорился.

Как ни занят был Николай спором, а к моему с Дашей разговору краем уха прислушивался.

— Какая там еще машина! Сказал, что сам довезу, и будь, Иваныч, спокоен. Сколько по району езжу, еще ни одного яичка в кузове не расколот...

— Андрей Иванович, вы не волнуйтесь. А то, может, у нас ночуете, а чо?

— На ферму хочется сегодня попасть. Своих повидать. Сами понимаете, сколько лет не виделись...

— Еще бы! — Даша наклонилась и горячо зашептала мне в ухо: — А там на ферме Зиночка Сальнова живет, помните чать? — Даша прищурила замаслявшиеся от удовольствия глаза. На селе ни от кого не утаишь секрета. Может, и до обмыльшка дознались? Это воспоминание уколело душу, уж какой за эти дни раз...

— А Зиночка дочку растит. Недавно к морю с ней ездила. Теперь у нас многие к морю ездят... Агрономом работает. С мужем в разводе, выпивал он сильно и с ней обращался плохо...

Даша взглядывала на меня, пыталась прочитывать все мои потаенные мысли. И мне вдруг стало и радостно и грустно — даже скрывать ничего не хотелось, и я готов был во весь голос крикнуть: «Да, случилось тогда горькое, непоправимое, обидел я Зину, а сам проглотил обмыльшек и вот прожил более двадцати шести лет и по сей день не могу выплюнуть его». Сидел, перебирал в душе кусочки прошлого, пытаюсь как-нибудь склеить их воедино. Даша словно учуяла своим любопытным носиком запах тлеющих в моем сердце угольков и, казалось, готова была сложить губки трубочкой и раздуть их, чтобы горели поярче. Я поднялся из-за стола и закурил.

Солнце уральское буйно и радужно било во все окна, еще румянее выглядели на столе яблоки, названные «Башкирской красавицей», весело пламенела герань на подоконниках — роскошные астры, гордые аристократы среди цветочных созвездий, словно хвастались, что они посажены в старинный, расписной глиняный кувшин, как хвалился культяпый Колька, что он водит машину с закрытыми глазами, что ему известны все ямки в оренбургских степях... Он тоже встал из-за стола, ловко прошелся скрюченными пальцами по пуговицам своего серого, изрядно помятого пиджака, застегнул их с неуловимым мастерством, как «молнию», насмешливо взирая на меня, проговорил:

— Поехали! А то я уж вижу, землячок вон волнуется. Ничего, Иваныч, довезу бережнее, чем яички...

Весь Колькин облик, лукавая улыбка в живых серых глазах были на удивление трезвы и чисты, как стеклышки.

Дорогу в 28 верст — от Кураганки до своей родной Петровки — я измерял и пешочком, шагая рядом с запряженными в телегу быками, когда возили на станцию тюки прессованного сена, когда кувыркались на раскатах, летели вверх тормашками перегруженные возы, рвались на оглоблях завертки, трещали ярмы, ездил по ней и на исполкомовских конях, когда работал в сельском Совете, и на первом купленном в городе велосипеде — с мокрой от пота спиной крутил педали до самого Кувандыкского перевала, а однажды верхом на коне едва не замерз в буран. Теперь вот — и тоже впервые — катил на «Москвиче», сидел рядом с Колькой и слушал его байки.

Дорога вилась между старыми, с ободранной корой вязами, корявыми молодыми дубками, то круто взлетала на кособокие пригорки, то ныряла вниз к речке, скрытой кустами ольхи и чернотала. Один раз Николай вдруг резко свернул вправо и направил машину по малоезженной колее. Я покосился на него с удивлением, потому что постоянная дорога пролегла выше и ее хорошо было видно даже не знакомому с местностью человеку.

— Верхняя дорога сейчас занята, — опережая мое недоумение, проговорил Николай. — Впереди идет колонна машин каких-то. Не разъедемся.

Николай угадал шум моторов. Минуты через три слева от нас показался гусеничный трактор — он тащил на прицепе старый, громоздкий комбайн. Запыленный тракторист в темных очках, действуя рычагами, обдал нас тяжелым грохотом и даже не посмотрел в нашу сторону. Следом за ним из-за поворота надвигалась еще целая армада самоходных комбайнов. Могучие машины шли в стройном фарватере один за другим, подавляя своими замысловатыми, удивительно величавыми надстройками. Мимо на хорошей для такой машины скорости, громяхая копни-

телем, проехал, как мне показалось, бригадирский флагман. Почерневший от загара и пыли рулевой взглянул на нас белыми из-под очков зрачками, словно разделяя мой восторг, помахал рукой. За первым шел второй, третий, затем четвертый, пятый, а далее, все так же поблескивая на солнце стальными оцетинившимися усами подборщиков, с мощно нарастающим гулом на двигались новые громады. Казалось, им не будет конца...

Николай снова вырuling на верхнюю дорогу, проехав метров триста, притормаживая, спросил:

— А родничок староверский помнишь?

Я помнил родничок и крест дубовый возле него. Рассказывали, что когда-то замерз тут кержак. Семейные на этом месте крест водрузили. Проезжие любили здесь останавливаться — водицы студеной испить, в лицо побрызгать, а то и горбушку калача размочить. Есть ли что слаще размоченного в родничке хлебушка!

— Нету уже креста-то этого. Подгнил и упал, а потом совсем исчез. Спалили, наверное, зимой для обогрева... — Николай остановил машину. Вылезая, спросил: — Узнал местечко?

Всякий крест, даже одинокий, как совершенное таинство, всегда навевал грусть, настораживал, немножко напоминая погост. Сейчас это место выглядело совсем иначе — сама речка еще гуще заросла ежевичником, шероховатыми дудками дягилей, до которых мы, ребяташки, были большие охотники — обдирали кожуру и съедали от комоля до вершины. Родничок люди оберегали — аккуратно обложили плитняком, сквозь который пробивалась зеленая травка. В самой серединке, как в кастрюле, пузырилась, вечно кипела сизая, до невозможности прозрачная вода. Мы умылись, попили из горсточек.

Николай опять сел за руль. Машина бойко катилась с пригорка, покорно уваливая от выбоин. Речушка Грязнушка метнулась вправо. Между ветлами показались постройки, крытые железом, окрашенные и в красные и зеленые цвета. Это была Олшанка — хутор, где жил и работал в колхозе мой племянник Василий.

Дом Васи Никифорова стоял на отшибе. Едва Николай нажал на клаксон, как из огорода выскочили трое мальчишек — двое с морковками в руках, третий, лет восьми, держал за руль мужской велосипед. По узкой прорези глаз, знакомо вздернутому носу я узнал сынишку Василия. Сходство было настолько поразительным, что я невольно засмеялся.

— Ты Генка Никифоров? — спросил я.

— Ну, я, — ответил он смущенно.

— А ты чего смеешься? — Второй, белобрысый, вытирая

подолом рубахи морковку, был менее похож на старшего. Третий, совсем еще карапуз, заинтересовался машиной.

— Встретил троих Никифоровых, и весело стало, — ответил я.

— А нас только два Никифоровых, а Митька и вовсе не наш, а Губин. А ты чей?

— Ты что, дедушку своего не узнал, едрена морковка? — вмешался Николай.

По законам родства, внукам моего брата я доводился дедушкой. Ребята, ухмыляясь недоверчиво, рассматривали новоиспеченного деда.

— Ладно, зовите отца, — потребовал Николай.

— А его нету! — раздался женский голос, и тут же из окна дома высунулись две головы — женская в пестреньком платочке и детская, светловолосая, с прелестными, как два василька, глазами.

— Выходи, Надежда, встречай гостечка дорогова. Вот он ваш дядя, самоличной персоной!

Надежда ойкнула и вместе с ребенком скрылась в окне. Генка рывком повернул руль велосипеда и поставил на дорогу, ловя босой ногой ржавую педаль.

— Постой! Ты куда? — крикнул Николай.

— Отца догонять! — Лицо Генки оживилось, синие глаза раскрылись пошире и решительно заблестели.

— Куда догонять?

— А он на Кураганку комбайн потащил! — ответил Генка.

— Как же вы разминулись? — выйдя из дома, спросила Надя. Здороваясь, она сокрушалась, что мы не встретились, переложив ребенка с руки на руку, приветливо приглашая нас в дом, улыбалась такими же синими, как у сынишки, глазами. Не успели мы с Колькой пыль смахнуть с ботинок, а на столе рядом с большим калачом появилась тарелка с красными помидорами, шмотки толсто нарезанного сала, пестрый арбуз и моя любимая дыня костянка, ну и, конечно, опять бутылка. А это ведь только начало, что же будет дальше, когда всех многочисленных родственников навещать пойду?

В этот тихий и знойный по-августовски день хотелось куска дыни и холодной сердцевинки красного, как кровь, арбуза. Пригубил с отвращением и закусил кусочком розоватого сала. Сало оказалось самой лучшей закуской, а белый домашний калач с хрустящей корочкой поднял в груди такую теплоту, что я с умилением смотрел на маленького Саньку и поцеловал его васильковые глаза. Надя оказалась такой славной и милой, угощала чем бог послал и, краснея здоровым, молодым лицом, се-

товала, что не ждала и не ведала встретить таких гостей, и угощений, каких надо, не настряпала. Я благодарил и успокаивал ее тем, что непременно побываю еще истряпни ее с удовольствием отведаю.

Мы выехали из Кураганки уже за полдень. Я все ждал, что вот сейчас степь обдаст меня родным полынным запахом, трепетным шелестом кустистого ковыля... И ничего этого, преждего, перевозданного я не увидел. Когда машина выкатилась на первый изволок, нас встретила золотистая стерня да неоглядная даль только что распаханного черного пара. Над всем этим полем горделиво возвышалась гора Шишка, за нею, радуя сердце, зеленел прибрежный Тугай. В предгорье уральской Шишки белели в новых посадках лесозащитных полос постройки совхозной фермы. В начале тридцатых годов здесь гуляли по ковыльным равнинам, рвали сухую полынь горячие суховеи. А сейчас рыжая, суглинистая земля родила не только хлеб и арбузы, но огненно-красный заморский перец, о котором мне успел поведать Николай.

— А домики помнишь? — спрашивал он.

Я все помнил, хотя никаких «домиков» давно уже не было и в помине. Когда-то тут, по Оренбургскому тракту, тянулись на Верхний Урал обозы, груженные товарами, этапы с каторжанами, прасолы гнали гурты скота. На этом месте, как рассказывали старожилы, стояла почтовая станция и заезжий дом, в котором можно было укрыться в свирепую вьюгу. С постройкой железной дороги домики исчезли, а название осталось. Ферма успела обрасти теперь своими кирпичными и каменными домами, молодыми садами. Вдоль широкой грейдерной дороги густо шумели на ветру клены и еще неизвестные мне породы деревьев.

— Это американский мелколистный вяз, — пояснял Николай. — А это южный тополь; говорят, одно такое дерево может прокормить кислородом человека или корову, — не без гордости добавил Колька. — Тут, понимаешь, когда-то была центральная усадьба. Перевели ее потом в Петровку. А в доме, который занимал наш директор Громов, теперь ваша Настя живет — ей отдали как лучшему бригадиру, а Игнат, само собой, как передовой комбайнер.

Недавно побеленный дом с большой стеклянной верандой был окружен молодыми яблонями и кленами. Около каменного сарая прилепился стожок сена, крест-накрест придавленный ветреницами.

Распугав сновавших во дворе белых кур и высоко взлетевшего петуха с нарядным гребнем, Николай резко затормозил и остановил машину неподалеку от дома. Выйдя из машины, я направился к открытой на веранде двери. Чувствовал, как дрожат

колени, и ноги отказываются повиноваться. Я не видел Настю пять лет, помнил ее высокой, статной бригадиршей. Я знал, что за это время жизнь ее была трудной, страшился увидеть изъеденное морщинами лицо, огрубелые от труда, когда-то прекрасные, добрые руки. Все это я мучительно передумал и в вагоне и в машине, где даже забавные, диковатые Колькины приключения не могли меня окончательно отвлечь от горьких мыслей. Чтобы не сразу узнали, я нарочно надел темные защитные очки и вошел в прихожую почти неслышными шагами. После горячего, пропитанного бензином воздуха в лицо пахнуло прохладой и чудодейственным ароматом зрелых дынь.

— Кто тут? — Настя возникла в дверях полутемной комнаты, шагнув к широкому окну, отдернула шторку и уставилась на меня удивленными, неморгающими глазами. Стояла по-прежнему стройная, высокая и теребила загорелыми, на удивление молодыми, крепкими руками розоватый с цветочками передник.

— Вам кого? — не переставая беспокойно тормошить передник, спросила она.

— Здравствуйте, хозяйюшка! — нарочито измененным голосом сказал я и почтительно, по-городскому приподнял шляпу.

— Здравствуйте. Здравствуйте! — дважды повторила она и поднесла ладонь к глазам.

— Нельзя ли, хозяйюшка, попросить у вас немножко водички? Жара... Мотор перегрелся, долить бы...

— Аа! Постой-ка! Постой! — Не отпуская от глаз ладони, она обошла меня и взглянула с одного бока, затем с другого, остановилась и тихо, упавшим голосом:

— Андрюша! А говорят, бога нету... Как же так, Андрюшка, милый ты мой! Какими судьбами?.. Хоть бы депешу какую прислал...

— Нарочно не прислал.

— Ну почему же?

— Люблю неожиданные радости...

— И то правда... перегорело бы все внутри, покаместе дождалась... Батюшки мои! Чего же я стою? Кто тебя привез-то?

— Да я, Настасья Мардарьевна. Здравствуй!

— Здравствуй, Миколай! Спасибо тебе. Проходи. Сестре Санечке надо сказать.

— Так я, наверное, поеду... — сказал Николай.

— Никуда ты не поедешь! Как же ты можешь от такого праздника уехать? Это мне да самой смерти теперь праздник! Поймай поди двух петушков и отруби им головы.

— Лады! Это мы мигом... Только я сначала твою Санечку позову и Василя Иваныча.

— Ой, спасибо, Николаша, золотой ты мой человек!

У Насти были всегда такие скорые руки, что я диву давался. Не успел я оглянуться, как мы уже сидели за столом, заставленным непряхотливой, но обильной деревенской закуской. Тут была и прибежавшая Санечка — моя кума, славное существо с милым, рябоватым лицом. Рядом с нею муж ее Вася Сурсков — по станичному прозвищу Сулюк, теперь Василий Иванович, геройский фронтовой сержант с черной вместо глаза повязкой на худощавом, улыбчивом лице.

— Ну надо же, Настя, а! Андрюшка-то вот он! Офицер пограничный! Гляди-ка! А помнишь, как я тебя хворостинной таловой от бахчей гнал?

— Помню, Вася, помню!

— За ранними дынешками, озорники, пожаловали... ну я их и шуганул... А на скачках-то! Как копыл бывало в седле сидит, росточка от горшка три вершка, а, глядишь, летит первым. Молодец! А потом, когда подросли, военную игру устраивали, ходили в конном и пешем строю станица на станицу, чуть ли не генерала изображал...

— Капитана, Василий Иванович, начальника штаба.

— Так и то добро, Андрюша, и спасибо, что приехал. Капитан ты теперь завравский! Шутка ли — пограничник! А я тут сейчас парторг, да еще лагерями команду.

— Какими лагерями?

— Свинок-то у нас несколько тысяч. Ну, что же, давайте-ка кинем по маненькой за встречу такую радостную!

Кинули и снова перецеловались. Не водилось у нас такой чувствительной нежности. Может, оттого, что жизнь другая пошла и люди добрее стали?

Горницу, где был накрыт стол, только недавно побелили, и пестро развесили фотографии. В центре брат Михаил верхом на коне — еще с той войны — в полной казачьей форме. Нашел я и свою в коротеньком пиджачке. Пониже Василий у трактора с орденом Ленина. Игнат на комбайне в очках. Совсем юная Настя в длинной темной юбке, подпоясанная широким ремнем с большой пряжкой — все выдержано по тогдашней моде.

За окном остывал нагретый за день клен, отсвечивая широким острым листом. Вдали виднелась желтоватая с прозеленью предуральская грива, наверное, по-прежнему густо заросшая бобовником, чилигой и таволгой. За гришвой темнел разнолесьем Тугай, там же за высокими осоками плескался милый моему сердцу Урал, где прошло невозвратное детство и юность. Отраднo было среди этих близких и дорогих мне людей. С рябоватого лица Санечки не сходила радужная улыбка. Настя раскраснелась, помолодела, морщинки у глаз уступили, разгладились, кремeвая кофточка в зеленую полосу делала еще при-

влекательней и не верилось, что годы шагнули за шестой десяток. Весело поглядывая на гостей, говорила:

— Ну, гости мои, любушки, айдате еще по маненькой, двойной у нас сегодня праздник — гость родной приехал, хлебушек убирать закончили...

— Ладно! С приездом, товарищи! — Жилистой, коричневой от загара рукой Василий Иванович поднял граненую рюмку, двинул костистым плечом, зазвенев на поношенной гимнастерке медалями разных степеней и отличий.

— Давайте-ка лучше споем! — Колька ткнул вилкой в соленый огурец, повертел его на острие и послал в небритый рот.

— А петь-то не разучились? — тихо спросил я у Насти. Я до самозабвения любил наши уральские песни, мне казалось, что нигде так хорошо не поют, как у нас на Урале.

— Что любишь и знаешь, родной мой, на весь век останется. — И Настя запела. Ей тут же складно подтянули Санечка и Василий с Николаем и ненароком забежавшая соседка, которую усадили за стол.

Я с детства знал эту старинную, неизвестно кем сочиненную песню, с ее незатейливыми, но бередящими душу словами. Песня эта возвращала к невозвратному... Ее так славно пела когда-то на посиделках Зина Сальнова. Оттого, что сейчас она была где-то тут близко, щемило сердце...

«Он склонил свою головушку,
На правую сторонушку —
На правую, на левую,
На девчонкину грудь,
Грудь на белую.
На груди мальчик лежал,
Тяжело вздыхал,
Как последний раз вздохнул,
Прощай сказал...»

Голоса поющих тревожили своей звучностью, стройностью и глубокой задушевностью. Эти люди давно сжились, сроднились с мотивом и словами песни, которые им были дороги и близки своей неподдельной искренностью. Они не подлаживались друг к другу, а пели широко, свободно! Я давно знал слова, тихонько подтягивал, мускульно ощущая физическую боль в сердце — оно тоскующе страдало по той далекой, безысходной, ничем не восполнимой утрате...

Пели и другие знакомые, неумирающие песни и не заметили, как нагрянул вечер, поблекли окна, затуманилась степь, только за тугаем розовела тихая закатная полоска.

Ушли убирать скотину Вася с Санечкой и соседка. Распро-

стившись со всеми, уехал поразительно трезвый и веселый Николай Молодцов, взявший слово, что мы все непременно будем его гостями и он «чиркнет» своего валуха и закатит такой бишбарман!.. Августовский вечер напоминал о себе мытьем коров и телят, звоном подоюников. За окном метнулась крупная тень чьей-то большерогой коровы, мелькнул цветной платок и хворостинка с листочками на конце в сильной, оголенной по локоть руке.

— Зиночка Сальнова свою красавку откудова-то завернула. Уж такая она у нее шелапутная, как придет из стада, обязательно отправится куда-нибудь арбузные корки подбирать...

Ждал я, что напомнит мне Настя о том прошлом, когда от женитьбы меня отговаривала. Я был растревожен вином, песнями и горячим, добрым вниманием дорогих мне людей, встречей с родиной, с ее вечной, неумирающей прелестью.

Тень Зины Сальной мигнула за окном близкой, неугасимой звездочкой и напомнила о минувших годах, о юности... Здесь я не в состоянии был забыть вчерашний день и думать о завтрашнем. Мне нужен был день сегодняшней, полновесно радостный, и еще нужна была эта теплая, белая августовская ночь... Я сказал Насте, что хочу пройтись, поднялся и вышел.

Тихую, сумеречную улицу я всегда ощущал, как нечто живое, сродненное со всем моим существом. Все тут было знакомо, близко в своей извечно повторяющейся доступности: и необъятное вечернее небо с ласково мерцающими звездами, и песенный звон молочной струи, и хрустящие жвачки сытых, тяжело вздыхающих коров, и еле уловимый шорох гнездящихся на насестах кур, и выкрик злого заблудного гусака, и первая лукаво-призывная мелодия гармошки.

Несмотря на выпитое вино, в голове было чисто и ясно, лицо умывалось степной свежестью, а в сердце все еще теплились отзвуки песни. Сняв шляпу, я тихими шагами прошел мимо каких-то лапушистых грядок, огороженных невысоким плетешком. На огороды густо наплывал вечер. От низеньких домиков веяло домашним уютом, окна манили тем самым таинственным на далекой ферме светом, который давал ритмично стучавший за скотными сараями электродвижок.

Сумерки все плотнее и гуще стелились вокруг тяжеловесно поникших подсолнухов, похожих в полутьме на многокрылых дремлющих птиц. А дальше, в степи, нахохленно высилась в сумеречной мгле Шишка-гора, нетленная память детства и юности. И вдруг захотелось, чтобы сердце мое, когда оно перестанет биться, было зарыто на вершине этой горы и чтобы

на этой желанной могиле вместо памятника и креста была поставлена высеченная из камня голова жеребенка с темной, таинственной провалиной умных в крутом надлобьи глаз. Потому что я нахожусь в вечном долгу у коня, который трижды спас мне в детстве жизнь. Воспоминания и хмель степных запахов будоражили все больше и больше. А я шел и шел куда-то огородами, перешагивал через грядки и сухие плетешки и неожиданно очутился на чьих-то задворках, стугнул кошку — она взметнулась под ногами, сверкнув в темноте изумрудными глазами, зашипела в капустных листьях, исчезла в грядках.

— Кого там носит? — Я узнал Зину по голосу — это был неожиданный, радостный отзвук юности. Я вздрогнул и остановился. Сколько бы ни колотилось сердце, но оно еще ни у кого не сломало ни одного ребра... Мне показалось, что электродвижок застучал чаще и ближе, пронизывая своим неукротимым звуком и грудь мою и низкие сени, открытую дверь и белеющую у порожка женскую фигуру. Направляясь к ней, я ступал по скрипящим капустным листьям и снова услышал знакомый голос:

— Кто это капусту губит, а?

— Здравствуй, Зина! — Я быстро приблизился.

Она ответила не сразу. Сенная дверь качнулась и скрипнула железной петлей.

— Здравствуй, если не шутишь... Ответ прозвучал неестественно, чуждо. словно не степным цветением дыхнуло мне в лицо, а сухой, осыпающей лебедой.

— Шел вот, да... — Слова мои беспомощно растаяли в полумраке.

— Заблудился?

— Нет, Зина, не заблудился...

— Неужели? — голос ее, не выдержав единоборства, сломался. — Заходи тогда. — Она щелкнула выключателем. И только тут, на фоне старого дощатого ларя и высокой, опрятно прибранной постели, я разглядел, как по-праздничному была она одета, как сохранно и молодо выглядело ее розовое от смущения и яркого света лицо, и как освежала, красила крутоплечую фигуру белая, сшитая по последней моде кофточка. Зина провела меня в горницу. Она прислонилась спиной к косяку и не отпускала руки от выключателя, как будто боялась, что сейчас погаснет свет и мы очутимся в темноте, как тогда в холодных сенях. Подняла голову и увела глаза к потолку. Она оживленно блестела...

— Да, што это я... — она торопливо нашарила за высокой грудью платочек, провела по глазам, скользнув по мне влажно

светящимся взглядом.— Видишь, какая стала. Даже самой не верится, что скоро уже тридцать...— Лицо ее озарилось улыбкой.— Только с поля приехала, гляжу — машина и ты в шляпе. Я даже к заборчику прислонилась... Не буду врать... побежала, умылась, открыла сундук, кофточку вот эту вытащила, надела и пошла, да вернулась с полдороги...

— Почему же?

— Не знаю... Ты посиди. Я сейчас.

Она скрылась за дверь и загремела ножами и вилками. Пришла с тарелками, наполненными закуской. Потом побежала снова куда-то и вернулась с пузатым графином настойки.

— Вишневая? — спросил я.

— А, как же! В этом году столько вишни в наших горах. В каждом доме настойка.

Мне не хотелось ни пить, ни есть, но и обидеть Зину не хотелось.

— А я ведь не ждала... Нет!..

Мы сидели рядом, как в те ушедшие времена и держались за руки. И желание и радость встречи были обоюдными.

За закрытыми ставнями таилась летняя ночь. С улицы явно донеслись голоса Насти и Василия Ивановича.

— Андрюшааа!

— Тебя ищут... — прошептала она. — Опять огородами уходи... Мне все едино, а тебе... — Она неожиданно прижалась горячим лицом. Пахло от нее и прежним душистым мылом, и вишней, и всеми горными нашими травами. Проводив за порог, остановилась в сенцах, зажгла свет, не выпуская моей руки, проговорила:

— Вот и встретились...

— Да, Зина... Я приду потом, — сказал я, не слыша своего голоса. Она не ответила, а продолжала гладить шершавой ладонью мою руку.

— Ступай, а то неловко...

Но мне уже было все нипочем, все ловко... Теперь я уже без всякого разбора прыгал через плетни и кочаны капусты и прибежал домой раньше всех. Не зажигая света, снял ботинки, сунув ноги в тапочки, улегся на диван и закурил, как ни в чем не бывало.

— Да дома он! — заметив сквозь оконное стекло свет сигареты, крикнул Василий Иванович.

— Небось заходил куда? — пытливо спросила Настя. От ее взгляда не могла укрыться никакая ложь. Я этого боялся больше всего на свете.

— Прошелся немного, воздухом подышал... Хорошо! Сейчас засну... как убитый провалюсь...

— Вот и хорошо. Отдыхай,— сказал Василий Иванович. Как-никак, а с дороги.— Ложись пораньше, а то я тебя чем свет подыму.

— Это еще зачем? — спросила Настя.

— За карасями пойдем. Пойдешь, Иваныч? Аль уж забыл про рыбалку?

— Нет! Буди, пойдем на Тептять.

— Дай ты ему отдохнуть! — снова вступилась Настя.

— В самый раз отдохнет за удочкой. Так, значит, будить?

— Буди, Вася, буди! Вот тут я и буду спать. Красота!

— А я тебе в горнице постелила!

— Тут лучше, больше воздуха... — Я возражал, а сам чувствовал, как валик дивана обжигает мне затылок. Стыдно было обманывать этих добрых, любящих меня людей. Рассказать о моем вечернем визите я не мог, а отказаться от предстоящей, ночной встречи было выше моих сил. Во мне проснулось давнее, глубоко дремавшее чувство, захватило со всей силой, и я с молодым, неистовым нетерпением ждал того запретного часа, ждал, когда успокоится, ляжет Настя. Она же все еще ходила — то во дворе гремела ведром, то прибиралась на кухне, то воевала с тряпкой в руках с гудящими мухами, не раз заглядывала ко мне, спрашивала о том, о сем: удобно ли я лежу, мягко ли, не холодно ли под тонким, байковым одеялом.

— И чего придумал тут спать... В горнице-то у меня такая перина, как ляжешь, будто утонешь... Так и не женился?

— Нет! Здесь у тебя хорошо! — Мне и на самом деле, как никогда, было хорошо, тем более что я собирался проверить ночь, капустные кочаны...

— Чего же хорошего? — полусонным голосом возражала Настя. Поднимусь чем свет, побегу на ферму и тебя разбуджу.

— Василий Иванович раньше обещался поднять...

— Он-то уж поднимется...

— Рыбак!

— Выпил, правда, рыбачок-то...

— Да он совсем трезвый! — возразил я.

— Крепкий, потому что и телом сухой. Он и работает, как двукильный. Откудова только силушка берется. Ну, ладно, спи.— Настя все не уходила и все говорила, как она работает, как трудно бывает с упоросом свиней и как хорошо, что я наконец приехал.

— Сижу вот и не верю, что рядом лежишь ты... Сколько годков-то минуло, пережито сколько, господи! — Голос ее задрожал, я знал, что она плачет, и мне самому хотелось запла-

кать, слушая ее рассказы про близких родственников, про разные тяготы жизни, про радости и про свадьбы недавние, про крестины и про скорбные военные лет похоронки.

После ее ухода я еще долго лежал с открытыми глазами, пытался обдумать, уловить разные в голове мысли, все хотел что-то решить, а сам, словно вор, ждал, когда все замрет, утихомирится... Я встал. Предательски заскрипевший старый диван заставил вздрогнуть. Даже в разведке, когда лазил вдоль границы, так не волновался, как этой ночью. Пришлось замереть на месте от надсадного лая близкой дворняги, которая учуяла мое ночное, воровское продвижение. Было сыро. Капли росы, потревоженные с капустных листьев, неприятно холодили полубосые, в тапочках ноги. Сенная дверь была заперта. Я осторожно постучал и тут же услышал, как кто-то спрыгнул с зазвеневшей пружиной кровати. Шевельнулась, дрогнула отодвинутая розоватая занавеска в окошке, показалось лицо Зиночки, обрамленное распушенными волосами. На меня смотрели большие, тоскующие глаза. Она покачала головой с полным отрицанием и быстро задернула.

Над Шишкой-горой, где я собирался похоронить свое слишком горячее сердце, поднялся и повис широколикий, пучеглазый месяц, услужливо освещая обратную дорожку. Я уже не рушил капустные листья, а ставил мокрые ноги в междурадьё. Прокрался на веранду и с размаху повалился на свое ложе — даже пружинки сочувственно промолчали и не издали ни малейшего скрипа. Засыпая, я все же улыбался, думал об этой неповторимой ночи, насыщенной сладким, запоздалым пробуждением...

Москва, 1971—1972 гг.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

1

В начале декабря 1942 года состоявшая из трех неполных кавалерийских эскадронов ударная группа, которой мне довелось командовать, провела на сычевском направлении в районе совхоза Никишкино очень тяжелый ночной бой. За сутки перед этим части 2-го гвардейского кавалерийского корпуса при поддержке танковой бригады вышли в тыл, заняв полукруговую оборону, сквали крупные части противника из состава ржевской группировки. Видя, что на его тылы и фланги наступают

наши полки, противник быстро опомнился, ввел в бой резервы: с севера, от станции Осуга, несколько рот автоматчиков, с юга, от Сычевки, внезапно подтянул бронепоезд. Наши небольшие заслоны были отброшены. Мы остались без продовольствия и боеприпасов. Танкисты слили из трех танков бензин и заправили одну приданную нашей группе тридцатьчетверку. На рассвете танк под командованием лейтенанта Бурденко подкрался к бронепоезду, разбил несколько платформ, заставил его убраться в направлении Сычевки, где он на одном из полустанков сошел с рельсов.

Лишенный огневого прикрытия, батальон гитлеровских автоматчиков был атакован нашими кавалеристами и откатился к станции Осуга, откуда изредка все еще долетали снаряды тяжелых пушек.

Запомнилось стылое, морозное утро. Колючий ветер обжигал щеки, разнося по безлюдному селу едкий дым. Догорали совхозные дома, зажженные снарядами бронепоезда, разбитые на линии железной дороги вагоны.

Мы зашли в один из дворов, где на фундаменте тлели последние бревна. Кругом валялись домашние вещи, трепетали на снегу белые листочки ученических тетрадей с поставленными красным карандашом учительскими отметками. Где сейчас их владельцы? Может быть, в ближайших лесах? Или превратились в эвакуированных скитальцев, а то в угнанных на чужбину рабов? Задумавшись над этим, я присел на корточки. Перебирая тетради и учебники, увидел запорошенную снегом небольшую по размеру книжку в густо-красном коленкоровом переплете. Взял ее, отряхнул от снега и прочитал на обложке: «А. Серафимович «Железный поток». Одна из самых любимых мною книг! Обрадованный находкой, я спрятал ее в карман полушубка и тут же, пристроившись на опрокинутом комодке, стал писать в штаб дивизии второе по счету донесение, снова настаивая на подкреплении и немедленной телефонной связи. Я уже почти закончил свое послание, когда услышал за спиной хруст снега и негромкий разговор. Оглянулся. Отворачивая от жгучего морозного ветра бурые, потемневшие лица, придерживая кто перчаткой, кто рукавичкой концы серых башлыков, подходили командиры эскадронов лейтенанты Федор Матюшкин, Алеша Фисенко и командир минометной батареи лейтенант Георгий Бабкин. Поздоровавшись, Гога, как мы его в шутку называли, заметил:

- Ну что за место выбрали, товарищ начштаба?
- Не выбирал,— продолжая писать, кратко ответил я.
- Продует до костей!
- А скирда на что? — вмешался Матюшкин.

— И верно! — воскликнул никогда не унывающий Алеша Фисенко.

— Пошли под скирду, — предложил лейтенант Матюшкин.

— Идите немножко остыньте... — ответил я.

Вскоре подошли командир 3-го эскадрона старший лейтенант Федор Грузинов и его замполит Петр Трапезников.

Дописав донесение, я тоже подошел к скирде и устало, с наслаждением присел на солому. Командиры, опустив башлыки, дремали. От разворошенных ржаных стеблей исходил успокоительный хлебный дух. Все тело и лицо, овеянное знакомой с детства пылью, приятно расслаблялись. На нас еще давил грохот только что закончившегося боя, скорбные, горькие мысли о боевых товарищах, которых мы потеряли в этой схватке.

Я хорошо понимал психологическое состояние дремавших рядом со мной командиров. За восемнадцать месяцев войны мне не раз приходилось убеждаться, что под артиллерийскую канонаду люди засыпают вовсе не от храбрости, а от больших, глубоких переживаний и страшной усталости. В прошедшую ночь они спали не более двух-трех часов. Я спал и того меньше — долго сидел в танке и при свете маленькой электролампочки «ездил» карандашом по карте, уточнял план боя, согласовывал его с командиром танка лейтенантом Бурденко. Перед рассветом поднял людей, спавших в совхозном коровнике, построил и зачитал подробный боевой приказ. Сейчас я слышал, как сладко посапывал мне в ухо лейтенант Алеша Фисенко.

«Пусть поспят, пока позволяет обстановка», — подумал я и почувствовал, как закутанная башлыком голова сникла к воротнику полушубка. Только тот, кто длительное время сидел в опасной засаде или на ответственном дежурстве, знает, как трудно бороться со сном. Я отлично понимал, что спать мне нельзя. Мы хоть и выполнили задачу — взяли совхозный поселок, теперь должны были во что бы то ни стало удержать его, вывезти трофеи, главным образом продовольствие, предназначенное противником для ржевской группировки, которая все еще удерживала этот город и считала его трамплином для прыжка на Москву... Я был уверен, что фашисты предпримут контратаку, попытаются снова закрыть участок прорыва. Поэтому, отдав приказание на подготовку к обороне, сразу же выслал в двух направлениях, по линии железной дороги, усиленную разведку с задачей: избегать стычек с противником, но не спускать с него глаз.

Над крышами уцелевших домов всюду белело утро. За дымами вставало солнце. Лучики его золотом плавилась на дрожащих стеблях ржаной соломы. Нудно и методично били вражеские пушки. Чтобы отогнать сон, я достал из кармана книжку, раскрыл на сорок девятой страничке, прочитал, а на следую-

щей так смеялся, что Фисенко открыл глаза и, тронув меня за рукав полушубка, спросил:

— Вы что, товарищ старший лейтенант? — Было чему удивиться командиру эскадрона.

— Ты только послушай! Послушай, яка ваша кубанска мова! — Я толкнул его локтем в бок и начал читать:

«— Я его у самую у сопатку я-ак кокну, он так ноги и задрав.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж... а он, сволочь, ка-ак тяпнет за...

— Го-го-го!.. Ха-ха-ха!.. — зареготали ряды.

— Як же ж ты до жинки теперь?»

Фисенко не выдержал, прыснул в рукавицу. Рядом зашуршала солома, откинулись со лба теплые кубанские башлыки, диковатые спросонья глаза командиров расширились.

«— Що ж вы, кобылятины вам у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма? — продолжал я читать.

— Та що ж, як выпилы,— виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза.

— Дэ ж вы узялы?

— Та ахвицеры, як прийшли до блищей станицы, найшлы у земли закопани в саду двадцать пять бочонкив, мабуть с Армавиру привезлы наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построили нас тай кажуть: колы возьмете станицу, то горилки дадим. А мы кажем: та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур. Ну, вони дали кажному по дви бутылки, мы выпилы,— а йисты не позволилы, щоб дущей забрало. Мы и кинулысь, а винтовки мешають.

— Э-э, свволочи! — подскочил солдат.— Як свыньи,— и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали...»

Все, кто слушал, были кубанцы, а Алеша Фисенко аж изпод самого Армавира...

Так и повеяло от этой родной мовы левадами, да дынями, да теми горячими денечками... До сна ли тут? Смеялись так, что скирда вздрагивала, и не сразу услышали голос Хандагукова, которого я посылал выбрать место для командного пункта.

Сначала он кричал, а потом свистнул по-разбойничьи, я понял, что все в порядке, и спрятал книгу в полевую сумку, еще не зная, какую верную службу она сослужила нам в этот нелегкий день.

— Поднимайтесь, товарищи ахфицеры, главнокомандующий меняет свой командный пункт,— шутливо сказал я и встал. Поднялись со своих теплых насиженных ямок все остальные, строя хивая с полушубков стебли соломы, двинулись за мной.

Навстречу нам шел Семен. Полы его полушубка были прострелены и ерошились клочьями шерсти. Я тогда еще не знал, что он ранен. Пряча в рукавике простреленную, наспех перевязанную руку, доложил, что нашел подходящее укрытие.

— Блиндаж что надо, оборудован под домом. Офицеры фрицевские жили, перин и подушек натаскали и барахлишка всякого, и продукты есть.

...Едва успели отойти от соломы метров на двести — двести пятьдесят, как над нашими головами с отвратительным звенящим шелестом пролетел тяжелый снаряд, заставив нас запоздало поклониться. Сначала я увидел, как взлетела вместе с жердями скирда, где мы только что сидели, затем со вспыхнувшим пламенем раздался оглушительный грохот.

— А ведь... — заикнулся было лейтенант Бабкин, но тут же замолчал, наверное, понял, что книга «Железный поток» теперь стала для нас добрым и мудрым спутником.

Блиндаж, куда нас привел Семен, на самом деле оказался удобным и прочным. Он находился в подвале каменного дома. Боковые стены были завалены толстым слоем земли, политой водой, крепко схваченной декабрьским морозом. Внутри в два яруса были устроены спальные места, застланные новенькими шерстяными одеялами, с большим количеством деревенских перин и подушек. Почти все верхние ярусы были завалены чемоданами с офицерским имуществом. Внизу под спальными местами лежали ящики с продовольствием, вином, свежими фруктами, вплоть до апельсинов и лимонов. Мы знали, что совсем недавно на плацдарм «для прыжка на Москву» приезжал Гитлер и привез для близко стоявших от столицы частей эти дары. Сейчас все это вскрывалось, взламывалось. На длинный стол выкладывали консервные банки разных сортов, пачки галет, черный хлеб выпечки 1938 года, завернутый в целлофановую бумагу. Кое от кого уже ароматно пахивало офицерскими духами, ромом и коньячком. Решительно отказавшись от выпивки, я еще раз объяснил командирам сложность обстановки, в заключение сказал в категоричной форме:

— Тот, кто сегодня напьется пьяным, будет строго наказан!

После такого крутого разговора, к огорчению любителей выпивки, все напитки были собраны в одно место, укрыты брезентом — под ответственность моего коновода Калибека, совсем не употреблявшего спиртное.

Я приказал командирам немедленно ложиться спать, да и самому не терпелось скорее прилечь на одну из постелей, манящих своими возвышенными пуховыми подушками, набитыми с деловой хозяйской щедростью. У командира есть своя священная заповедь: он не ляжет спать, пока не сделает всех не терпя-

щих отлагательств дел. Полным ходом шла сортировка и вывозка трофеев. За всем этим строго следили Семен и Калибек. Мне было не до этого: приехавший из штаба дивизии офицер связи по секрету сказал, что там не сразу поверили моим донесениям и сначала начальник оперотдела засомневался, а разбили ли мы бронепоезд и захватили ли совхоз. Очистив край стола, я быстро набросал схему своей обороны, указал место командного пункта. И снова дописал в донесении несколько горьких слов.

Теперь я мог немного отдохнуть, но не тут-то было. Из штаба дивизии вернулся отвозивший трофеи Семен Хандагуков, а с ним прибыли заместитель командира дивизии по политической части мой однофамилец полковник Михаил Алексеевич Федоров и командир разведывательного дивизиона майор Нилов.

Я вскочил и доложил обстановку.

— Читал, брат Федоров, твои донесения... Уж больно ты рассердился, — улыбаясь заговорил полковник.

— Мне же не поверили! — горячился я.

— Этому трудно было поверить, — признался Михаил Алексеевич.

— Слишком силы были неравные, потому и не верилось, — заметил майор Нилов.

— Отлично действовали! — подтвердил полковник.

— Один танк против бронепоезда и нескольких рот пехоты! Молодцы! — продолжал Нилов. — Начальник штаба дивизии полковник Жмуров оформляет на ваших людей наградные листы, а ты нас встречаешь совсем хмуро... Угостил бы чем бог послал... Мы тебе еще один танк прислали на левый фланг.

— Танкистам подвезли горючее. А когда они на своих железных конях — сила! Двадцатая дивизия должна выдвинуть сюда два кавалерийских полка с артиллерией, — продолжал Михаил Алексеевич, с аппетитом уничтожая разогретые на сухом спирте консервы, запивая их чаем с вареньем.

В это время блиндаж дрогнул от близкого разрыва. Я приказал оперативному дежурному Бабкину подняться по лестнице наверх и уточнить на левом фланге обстановку. Командиры так крепко спали, что никто не пошевелился.

— Нам тоже нужно малость вздремнуть, — сказал майор Нилов.

Приехавшие гости решили расположиться на отдых, но я категорически воспротивился этому, стал уговаривать, чтобы они отправились в Карпешки, где в совхозном сарае находились наши коноводы. Там было безопаснее, а тут каждую минуту обстановка могла осложниться.

— Ладно, майор, не станем их стеснять, да и все равно его не переспоришь, — согласился Михаил Алексеевич.

— Ну что же, в Карпешки так в Карпешки, там как раз мы оставили своих коней, — проговорил Нилов.

— Сам-то тоже отдохни наконец! — сказал полковник.

Я велел Хандагукову проводить их до Карпешек, остаться там и как следует обработать раненую руку. Мы попрощались.

Вот что написал мне в своем письме от 18 мая 1974 года ныне живущий в Волгограде полковник запаса Михаил Алексеевич Федоров:

«Дорогой Павел Ильич!

Письмо Ваше получил — такое сердечное и теплое, которое может написать только соратник, фронтовик, друг, переживший смертельную опасность и невероятно трудные испытания, горечь и радость в суровые годы Великой Отечественной войны. Такая испытанная дружба не забывается до самой смерти. Каждая встреча и письма заставляют вновь и вновь вспоминать все пережитое и вызывают теплые чувства к своим боевым соратникам. Но больше всех пришлось испытать Вам, Павел Ильич. Ведь мы Вас похоронили. А Вы назло фашистам выдержали все муки...

В своем письме Вы вспоминаете мое посещение совхоза Нишкино. Кроме угощения, Вы снабдили меня хорошими одеялами, которые я вручил своим комдивам — Михаилу Ягодину и Александру Курсакову. Действительно, выпроводили Вы меня с Ниловым (между прочим, очень настойчиво) вовремя. Ведь после моего ухода у Вас начался сабантуй — ад крошечный. Товарища Нилова я хорошо знал по Дальнему Востоку — вместе служили в отдельном кавалерийском дивизионе. В той долине смерти одновременно с Ниловым погиб и мой однополчанин майор Тяжев, заместитель командира полка, с которым я учился в кавалерийской школе в 1931 году».

Письмо друга радовало, волновало, будоражило память, заставляло вспомнить подробности событий более чем тридцатилетней давности. Талон на бессмертие — это строки воспоминаний и наши осколки в раздробленных костях. Встав перед зеркалом, я пригладил седые на висках волосы, надбровные дорожки морщин, прощупал гнездящиеся в правой руке металлические, от танкового снаряда, осколки, которые ношу в своем теле с той самой поры, долго и пристально разглядывал на старой фронтовой гимнастерке орден Красной Звезды за № 951827, полученный за тот самый ночной декабрьский бой.

Не раздеваясь, я прилег тогда после ухода Михаила Алексеевича на одну из постелей, вытянул усталые ноги, чувствуя, что сию же минуту усну как мертвый. Тело мое слабло, глаза буквально слипались, но странное дело — где-то глубоко внутри сознание протестовало против сна. В то же время я был

рад, что дал отдохнуть бойцам и командирам, обогретым, накормленным. Решил, что, пока не вернется лейтенант Георгий Бабкин, которого я уважал и нежно, по-братски, любил, спать не буду. Вспомнив о «Железном потоке», я вынул его из полевой сумки. Не читал, а словно пил в жаркий полдень освежающую родниковую воду: «За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу. А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежды, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях собаки». До чего же знакомая картина! Я даже подскочил на постели. Все это мы видели в прошлом, 1941 году, когда советские люди с детишками и таким же точно домашним скарбом уходили от фашистов в глубь страны, посматривая на нас, конников, укоряющими глазами. И дальше: «Странно поражае глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки... Эскадрон за эскадрон в мохнатых папахах, на которых красные ленточки... Поют молодыми, сильными голосами украинские песни». И это все было родное, близкое, как тревожный стук сердца. Как тут уснешь! Душу охватило какое-то нехорошее предчувствие. Почему долго не возвращается Бабкин? Была у меня привычка, выработанная еще в особом кавалерийском пограничном полку: если в чем сомневаешься, еще раз проверь. Отбросив бурку, встал с постели, схватил автомат и разбудил крепко спавшего Калибека. Ни о чем не спрашивая, он взял свой карабин, и мы поднялись с ним по крутым, скользким ступенькам бункера. После душного подземелья в лицо нам хлынул снежный вихрь, гоня струйки поземки. Посреди пустынной улицы маячила долговязая фигура лейтенанта Бабкина. Он странно пятился к входу в блиндаж, схватив рукой кобуру, нелепо кричал:

— Вот они, фрицы, вот!

Я взглянул вдоль улицы и замер на месте. В сотне метров от меня, по левой стороне улицы, вяло и разболтанно двигалась цепь немецких солдат, человек десять — двенадцать. Вторая группа, примерно в том же количестве, шла с противоположной стороны. Видно было, как, нахлобучив пилотки по самые уши, они тоже привычно отворачивали лица от ветра, по ногам вихлясто мотались полы темно-зеленых шинелей... Это запомнилось мне на всю жизнь. Не будь книги «Железный поток», мы

бы все уснули навечно... Однако размышлять было некогда. В какие-то доли секунды инстинкт самосохранения сработал помимо моего сознания. Мгновенно вскинув автомат, я дал длинную очередь сначала по одной группе, идущей гуськом по левому от меня посадку, а затем хлестнул свинцом по другой. Так же, стоя во весь рост, бил из карабина Калибек. Фигурки в темно-зеленых шинелях исчезли, словно растаяли... На снегу осталось несколько серых комочков. Приказав лейтенанту Бабкину поднять отдыхающих в блиндаже командиров, буквально засыпанный трассирующими пулями, я кинулся к фундаменту сгоревшего дома и повел огонь из своего ППШ. Рядом со мной очутился Семен. По-сибирски неторопливо выбирая цель, стрелял одиночными из автомата, после каждого выстрела что-то кричал станковому пулеметчику, в задачу которого входилокрытие командного пункта.

Продолжая отстреливаться, мы с Калибеком поползли к нему.

— Ты чего спишь? — крикнул я пулеметчику.

— Заело!..

Я прилег за щиток и поправил перекошенный в ленте патрон. Когда держишь в руках станковый пулемет, то чувствуешь себя куда спокойнее... Я уверенно повел огонь по дому, где засели вражеские автоматчики, поливая нас огненными трассами.

В это время из блиндажа успели выскочить проснувшиеся командиры и быстро заняли свои места. Услышав выстрелы и крики, повели огонь и другие пулеметные точки. Группа разведки противника, более двух десятков солдат, была уничтожена.

Мы снова в блиндаже. Про сон я и думать забыл. Сажу и читаю разведдонесения моих замечательных трудяг-разведчиков Ивана Баловнева и Алеши Медведева. Они сообщали, что к ближайшему полустанку подошли три танка противника и пять машин пехоты. Пытаются отремонтировать поврежденный нами бронепоезд. А с востока к станции Осуга подошел второй — такого же класса. Из Сычевки на станцию Скобелево прибыли эшелоны с войсками и техникой. Танки своим ходом съезжают с платформ и сосредотачиваются вдоль шоссе Сычевка — Ржев. Едва я успел написать и отослать донесение, как блиндаж снова сотрясли несколько взрывов. Выяснилось, что это наши опоздавшие к делу штурмовики бомбили фашистов... Огорчительно было провожать танкистов. Им подвезли горючее, и они ушли в открытый проход навстречу нашим наступающим войскам.

Вскоре прибыли обещанные замполитом дивизии полковником Михаилом Алексеевичем Федоровым два кавалерийских полка — 103-й подполковника Дмитрия Калиновича и 124-й майора Саввы Журбы.

Гремя по мерзлым крутым ступенькам ножами кривой кавказской шашки, в сопровождении двух автоматчиков в блиндаж спустился Дмитрий Калинович.

Я подал команду встать, но подполковник, махнув снятой с руки кожаной перчаткой, дал понять, что ему сейчас не до церемоний. Сунув перчатку в карман белого полушубка, склонился к разостланной на столе карте, бегло пошарил темными, чуть прищуренными глазами, сказал:

— Добре.— Увидев рядом с картой случайно оставленную мною книгу А. Серафимовича, пытливо взглянул на меня, листая ее, продолжил: — И над картой колдуем и книжечки в черном переплете почитываем... Ого! Я бы сам возил с собой такую вместе с наставлением для полевых штабов. Огненное это, братья мои, сказание о героях-таманцах! Ладно, старшой, не трать время на доклад. Мне все известно. Дрались вы молодцом! Будем считать, что участок твой принят. Полк майора Журбы на левом фланге, а мы на правом — до Белохвостова включительно. Туда мы с тобой еще проскочим. Розумиешь?

— Розумию, товарищ подполковник, только вот удержать участок... — Я откровенно высказал свои сомнения.

— Будем стараться! — не отрываясь от книги, закивал подполковник сдвинутой на затылок серой ушанкой и тут же, покосившись на прибывших с ним людей, хитро щуря умный глаз, добавил:

— «Добре, товарищи. Ставлю одно неперемное условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказания... — расстрел».

Кто-то из его свиты кашлянул и захолопал рукавицами.

— А вы не кашляйте, а скажите, як вы мозгуете? — держа перед глазами книжку, попытался подполковник.

— А так и мозгуем, як вы сказали: будемо стараться... — ответил самый крупный и плечистый из его свиты конник с коричневым, обдудым всеми бурями и ветрами лицом, в лоснящемся, выдавшем виды полушубке, увешанный гранатами, запасными дисками, подсумками и фляжками, как и мой стоявший за моей спиной коновод Калибек.

— Значит, ты, Мирон, не возражаешь? — дергая себя за темный чапаевский ус, спросил Калинович.

— Само собой! — ответил Мирон.

— Тут так и написано, да ще с закруглением, вот слушайте

весе: «Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания...» Чуешь, Мирон?

— Та чую!

— Ну и лады. А теперь, товарищ гвардии старший лейтенант, будь ласка, дай почитать! Убей бог, верну!

Не успел я и рта раскрыть, а Калинович уже прятал книгу в полевую сумку, приговаривая:

— Вот и спасибо, дружище, спасибо. Я тебе тоже какой-нибудь трофей подкину. За нами не пропадет. А сейчас, братка, добежим до Белохвостова и все там обмозгуем.

...Сколько мы с ним в тот лихой час ни мозговали, к исходу дня противник силами двух батальонов при поддержке танков и бронепоездов повел наступление одновременно на Никишкино и Белохвостово, вытеснил прибывшее подкрепление и поставил всю нашу группировку в очень тяжелое положение.

Вот что я записал в свою тетрадь, которую завел, находясь в 1943 году в Брянске, в офицерском госпитале:

«Подошедшие с двух направлений бронепоезда противника снова закрыли нам выход через линию железной дороги, а его танки оседлали ржевский большак и запечатали путь в лес в западном направлении. Семь кавалерийских полков с артиллерийскими дивизионами на конной и моторизованной тяге, более двухсот повозок и саней с боеприпасами и ранеными сгруппировались в мелколесье на небольшой площади — между ржевским большаком и линией железной дороги. Остаться на этом гиблом месте было нельзя. Над мелколесьем, завывая моторами, нас искала авиация противника. По радию получили приказ штаба фронта: прорываться через большак и уходить в глубокий тыл.

Никогда не забыть этого серенького, пасмурного утра. Семь колонн всадников выстроились в молодом заснеженном лесочке и ждут сигнала. Слышно, как громяхают гусеницами и беспорядочно стреляют из пулеметов фашистские танки. Ходят взад и вперед по ржевскому большаку, который мы должны пересечь. Мы еще ждем, когда по ним ударят с флангов наши пушки, которые выдвинул полк Дмитрия Калиновича, — ему оставляется вся артиллерия и обозы с ранеными. Как он все эти колеса и сани перетащит через большак? Вдоль шоссе протекала крохотная речушка, обозначенная на карте едва заметной синей нитью. До речушки нужно было продираться несколько сот метров через молодой лес, проросший кустами черемухи, можжевельником, осинами, лапчатыми елками, черноталом и суковатой прибрежной ольхой. За большаком расстиралось широкое поле, а за ним — примерно в двух километрах — начинался настоящий смешанный лес. Там было наше спасение. Пушки Калиновича

ударили неожиданно, разнося по лесу тяжелый гул. Обеспокоенные кони тревожно завертелись на месте. Подо мною была горячая, необыкновенно резвая кобылица по кличке Флейта. Я легонько тронул ее шенкелем и поехал вперед. На правом фланге от меня шел полк Капустина. Майор Капустин был ранен, и теперь этим полком командовал начальник разведотдела дивизии майор Федота. Между кустами мелькала его бурка, закрывшая до самого хвоста круп большой черной лошади.

Наконец колонны тронулись. Мы движемся по заданному азимуту, а вернее, шагом пробираемся сквозь кустарник строго на запад — туда, где грохочут вражеские танки. Только вперед! Свернуть куда-либо невозможно. Справа ломают кусты кони федотского полка, слева мелькают всадники штаба дивизии. Семь колонн идут на очень узком фронте. Идем ощупью. Слышим первые, особенно неприятно шипящие пули. Они шарят по верхушкам деревьев и сбивают прилипший к веткам снег. На флангах гулко бьют дивизионные и полковые пушки Дмитрия Калиновича. Не будь этого прикрытия, нам пришлось бы совсем плохо. Рвутся на рокаде снаряды наших пушек. Лес поредел. В пяти метрах от головы моей лошади затаенно возникла та самая безымянная речушка, заросшая ольшаником и занесенная мягким слоем пушистого снега. А впереди! Впереди на той стороне крутой обрыв в сорок пять градусов, предательски сглаженный белой снежной периной. А воздух так густо нашпигован шипящим свинцом, что позади кто-то коротко охнул и свалился с коня.

— Перевязать, — кратко говорю я и резко посылаю вперед лошадь, но она упрямится и пытается повернуть назад, чует опасность.

Нервы мои предельно напряжены, но я настолько собран, что не позволяю себе пустить в ход плеть, шепчу лошади что-то на ухо... Толкнув меня стремением в бедро, вперед вырывается мой коновод и, разогнав коня, погружает его в мягкий снег чуть ли не по самые маклаки. Калибек выпрыгивает из седла и тянет лошадь за повод, она бьет ногами и выбрасывает на снег черную, перемешанную со снегом жижу. Видимо, речушка славится летом своими студеными родниками, а зимой не замерзает. С боков слышны стоны, ругань, крики: фурчат, ворочаются в грязи под пулями кони и люди. Я не выдерживаю, со злостью вонзаю шпоры в бока Флейты, и она вихрем переносит меня на ту сторону, только задними ногами чуть касаясь мягкого, запорошенного снегом берега. Потом, как кошка, лежа на брюхе, царапает передними подковами крутизну... «Ну, голубка моя, давай, давай же», — шепчут мои губы. Рывками Флейта выползла на край обрыва, стремительно вскочила, ка-

чаясь подо мной, несколько раз встряхнулась, протяжно всхлипнула и устремилась вперед. Я выправил ее бег, услышав крик, взглянул вправо. Там на большой черной лошади с блеснувшим над буркой клинком широким, размашистым галопом скакал майор Федота, нелепо выкрикивая:

— О-о! Ланцепуы!

Откуда он выкопал такое словечко? И вдруг я вижу впереди скачущего майора приземистые фигуры в лыжных желтого цвета комбинезонах с торчащими на груди темными автоматами и только сейчас соображаю, что это враги. Их много маячит по всему снежному полю. С опаской оглядываюсь назад. Коновод и мои люди отстают — орут, стреляют прямо с седел. Слева зрелище, которое не забыть: грозно, напористо, словно призраки, выскакивают черные бурки на распластанных конях попеременно с белыми полушубками, а из речушки — все новые и новые всадники. У нас с Федотой сильные и резвые кони, мы вырвались далеко вперед. Я опережаю его, не могу сдерживать свою Флейту одной рукой, она проносит меня мимо какой-то желтой фигурки с автоматом в приподнятой руке. Вижу еще одну, другую и, уже не пытаюсь сдерживать лошадь, взмахнув клинком, бью по чему-то мягкому, неприятно вязкому... Помню, что повторил это несколько раз.. Помню еще черный фонтан земли и противный запах гари. Это рвались вокруг снаряды. Помню приближающийся зеленоватый лес, горластые, надсадные дорожные мне боевые песенные возгласы...»

2

...Шли годы. После войны я часто жил и работал в Доме творчества Союза писателей имени А. С. Серафимовича. Проходя мимо стоящей в нише скульптуры автора «Железного потока», мысленно поклонившись его мудрой лобастой голове, я каждый день уходил в лес на берег реки Рузы. У меня есть тут свои на всю жизнь облюбованные места. Здесь мягко, с легкой грустью шумят на ветру разлапистые ели, мачтовые сосны и старые дубы-великаны, звенящие крученой листвой. Я бываю в этих местах потому, что тут каждый перелесок, каждый безымянный курган на опушке представляется мне молчаливым памятником грозным дням сорок первого года. Мне эти места дороги — здесь я защищал столицу, был ранен. Хожу, думаю, вспоминаю. Белой зимой в сердитый колючий мороз по хрустящему снежному насту можно пройти по тропинке и наткнуться на зоревых снегирей. В тревожной, чуткой, как сон, тишине они чаруют своим огненным оперением и напоминают друзей-одно-

полчан, гвардейцев в малиновых башлыках, в серых папахах и ушанках. Потомки героев «Железного потока» в декабре сорок первого года прогребали боями горячими, смело и дерзко прошли в пешем строю и на тонконогих стремительных конях кубанских прошли грудью вперед по этим широким просекам, по вязким тропам тростяных болот, по лесным завалам, таящим смерть, по пылающим, подожженным врагом селам с холмиками смерзшейся земли, запорошенной злою снежною поземкой.

Плотно и грузно лежат голубые снега, а вокруг подросли и возмужали деревья. На широкие просеки шагнула молодежь крепких берез и дубков. Молодь шумит, разрастается, а над нею на могучих металлических арках провисают тяжелые провода высоковольтного напряжения, по которым течет электрический ток волжских станций, сооруженных моими бывшими однополчанами и их сыновьями. Тихо гудят провода, несущие в своих горячих жилах энергию тепла, неиссякаемую силу солдатской удали. И стережет это тепло, эту славу бессмертный часовой в беломраморной каске, с автоматом в гранитных руках. Чуть ли не у каждой околицы, на многих лесных опушках, на развилках бывших военных дорог гордо стоят суровые памятники солдатам, словно застывшим на вечном своем посту, на вечной солдатской вахте! Тут сибиряки и уральцы, москвичи и волжане, дальневосточники, донцы и таманцы — сыны Кубани. Это о них и славном командире 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерале Льве Михайловиче Доваторе я написал свою первую книгу. Одним из первых читателей, сказавших о ней самые добрые слова, был А. С. Серафимович, знакомство с которым произошло на войне, продолжилось — в Москве.

...В апреле 1948 года меня встретил в Союзе писателей Иван Митрофанович Овчаренко, старейший коммунист, бывший боец знаменитой Таманской армии, моряк, автор популярной в то время книги «В огненном кольце», в которой рассказывает о героическом подвиге красных партизан в знаменитых Керченских каменоломнях в 1918—1919 годах. Овчаренко был участником этой эпопеи.

Остановив меня в коридоре, Иван Митрофанович неожиданно сказал:

— Сейчас мы поедем с тобой в гости! Александр Серафимович просил приехать и привезти тебя... Он прочитал твою книжку и хочет с тобой переговорить. Но, прежде чем ехать, надо все-таки позвонить, — не обращая внимания на мою растерянность, продолжал Овчаренко и скрылся в дверях какого-то кабинета.

Было от чего растеряться. Моя история как писателя еще только начиналась. «Железный поток» А. С. Серафимовича всегда был и остается для меня недосягаемым. Не говоря о ее исторической социальной значимости, книга эта по своей живописности, художественному мастерству, необычно упругой и сжатой композиции одна из лучших в советской литературе. Она мне всегда представлялась в виде гигантского раскаленного утюга, который движется по степи в дождь, грязь, в свирепый холод, в пургу, сокрушает все препятствия на пути и нисколько, до самого конца, не остывает в своем накале. Эта удивительная книга размером всего-навсего в семь печатных листов обошла весь мир и создала ее автору бессмертную славу. Миллионы советских парней моего и других поколений, читая «Железный поток», учились мужеству, героизму у воинов Таманской армии. Книга стала подлинно классической, хрестоматийной.

«Железный поток» стал настольной книгой. Но, наверное, очень плохо, что я никогда не вел дневников *. В годы Великой Отечественной войны, будучи строевым офицером, ведя записи в журнале боевых действий, в личный блокнот я не занес ни единой строчки, хотя печататься начал еще с 1924 года. Однако впечатление о встрече с А. С. Серафимовичем я все же, придя домой, записал. Но только спустя несколько лет, когда нужно было писать статью о Сергее Николаевиче Ценском, я понял, что такое старая блокнотная запись...

...Александр Серафимович жил за Каменным мостом. Дверь нам открыла Фекла Родионовна и привела в небольшую гостиную.

Серафимович вышел из кабинета медленной старческой походкой и приветливо поздоровался.

— Спасибо, что приехали,— проговорил он тихим, глуховатым голосом, энергично пожимая нам руки.

Он сел на диван, мы с Иваном Митрофановичем на стулья, напротив него. С глубоким внутренним волнением и напряжением я смотрел на его большую, лобастую, совершенно белую голову, седые, коротко остриженные усы, чуть суровое розоватое лицо с крупными, резко выделяющимися морщинами.

— Хорошую вы написали книгу,— подняв на меня живые, совсем нестарческие глаза, проговорил Александр Серафимович.— У вас очень удачно изображены кони. Люблю коней. Советую написать книгу специально о военных конях. Это, конечно, не значит, что вы плохо пишете о людях. Доватор у

* Записи начал делать позже, в госпитале.

вас — фигура сильная. Человек. А литература живет та, где есть человек.

Александр Серафимович замолчал. В широкое окно гостиной лился теплый апрельский свет. Фекла Родионовна гремела посудой, расставляя ее на белой скатерти. Над пузатенькими рюмками горделиво возвышалась бутылка настоящего цимлянского.

— Много пришлось непосредственно участвовать в боях? — вдруг спросил Александр Серафимович.

Меня этот вопрос застал врасплох. Все бои, в которых мне пришлось участвовать, я хорошо помнил. Их было так много, что я боялся, как бы мой ответ не прозвучал неправдой. Назвал цифру сорок, уменьшив чуть ли не на треть.

Александр Серафимович оживился. Спросил, сколько раз я был ранен.

— Живучий вы! — Он скупно, но дружелюбно улыбнулся. — Как звали вашего коня?

— Орелик, Грань, Ракета, Трензель, Флейта, — торопливо ответил я.

— Почему так много? — удивился он.

Я объяснил, что Орелик был убит в первом же бою. Грань ранена. Ракета сгорела во время бомбежки. На последних — Трензеле и Флейте — я ездил попеременно.

— Да. Эта война была страшной. В одном месте есть у вас такое: казак, засучив рукав, посмотрел на бледно-розовую кость, выпирающую из предплечья, сморщился и опустил рукав. — Серафимович покачал головой: — Деталь!..

— Это пулеметчик Криворотько, — напомнил я.

— Кстати, у вас хорошо звучит украинский язык. Я знаю кубанцев. И было бы очень плохо, если бы вдруг линейные кубанские казаки заговорили, как москвичи. У народов Северного Кавказа свой, особенный язык, сочный, образный. Украинские слова придают ему своеобразный колорит.

— Учился и учусь у вас, Александр Серафимович, — признался я, постеснявшись откровенно сказать, что, работая над «Глубоким рейдом», книгу «Железный поток» держал не только в памяти, но и на письменном столе.

— Уж это вы зря говорите, голубчик. — Он погрозил мне пальцем и по-прежнему доброжелательно улыбнулся. — Я ведь понимаю, что у кого есть. У вас свое, с природы списанное, с живых людей. В этом ваше преимущество. Потому что язык передает характер народа, скажем, тех же донских и кубанских казаков. Можно придумать жаргон, но своеобразие любого язы-

ка не придумаешь, его надо уметь улавливать на слух, как музыку.

Настоящие книги, которым суждено долго жить, рождаются в тяжких муках, — продолжал он, задумчиво смотря перед собой. — Рождение Григория Мелехова или Аксиньи — это появление на свет нового человека в литературе, невероятной выпуклости и сложности. Как, наверное, и все старые люди, я пишу мало, но читаю много. А о войне читаю все, войну вижу. Хоть и глуховат, но слышу, как рвутся бомбы, пули свистят, вижу, как никнут израненные березы, а человека не везде чувствую. Вот Алексей Николаевич Толстой умеет писать... Я его люблю. Правда, не всегда густо пишет, как, например, Петра Первого написал... «Хождение по мукам» тоже интересно написано...

Александр Серафимович бережно, по-казацки расправил сединку усов, в серых умных глазах заискрилась веселая лукавинка.

— Заглавие трилогии «Хождение по мукам» больше всего лично подходит к нему самому. Эмиграция — разве это не мука? А возвращение и писание романа о революции, о гражданской войне? Побывав в «западном раю», он, не мудрствуя, нырнул в самое «адово пламя»... Выскочил, взвился благодаря своему незаурядному таланту. Заканчиваешь последние страницы «Хождения по мукам», радуешься за Катю и Вадима Рощина и даже чуть-чуть заморгаешь ресничками, облегченно вздохнешь и заснешь без особых душевных тревог... А вот когда читаешь последние страницы «Тихого Дона», неделю не находишь покоя и никак не можешь забыть эту нашу русскую бабу Акютку, для которой Григорий Мелехов казачьим своим клинком могилу вырыл. Попробуй забудь-ка!..

Александр Серафимович умолк и задумался. Молчали и мы, покоренные его глубокими мыслями, не замечая возраста этого мудрого, прозорливого в своих суждениях старца с быстро потухшей лукавинкой под седыми опущенными бровями. А время шло. На стенах еще ярче заблестел солнечный весенний день апреля 1948 года. Мы чувствовали, что Александр Серафимович утомился. К этому времени добрая, милейшая Фекла Родионова пригласила нас к столу.

— Вина я не пью теперь, но ради такого случая налейте и мне рюмку.

Мы чокнулись. Александр Серафимович выпил до дна. За обедом говорили мало. Потом Александр Серафимович снова перешел на диван и продолжил разговор о Шолохове.

— Он живет среди своих героев, среди колоритнейших казацких типов. Сам вскормлен на соске из степного молока

вольной Придонщины, с детства впитал в себя все ступки извечного народного творчества.

Серафимович говорил тихим, размеренным голосом, без труда находя удивительно яркие и точные определения.

— Знаете что,— неожиданно повернув ко мне голову, продолжал Александр Серафимович.— Знаете что, дорогой, приглашаю вас в мае к себе на дачу. Иван Митрофанович свой человек, дорогу знает. Поживете у меня, а потом сядем на парходик, доедем до Сталинграда, а оттуда махнем прямо к Михаилу Александровичу Шолохову. Примет. Он добрый. Гостей любит. Вот будет поездка, а?

— Что и говорить, мечта, Александр Серафимович, а не поездка,— заметил Овчаренко.

— Люблю ездить. Посмотреть новое, свежее... Да и на старое поглядеть тянет... Любил, очень любил ездить,— повторил Александр Серафимович.— Всегда прыгал в жизнь обеими ногами...

Заговорив о поездках, опять вернулись к литературе и отдельным писателям.

— Сергеев-Ценский? — Серафимович быстро поднял голову.— Сергей Николаевич — это редкое явление нашего века. Большой писатель и совсем не оцененный критикой. Вот же в чем беда!

Было видно, что Александр Серафимович разволновался и начал утомляться. Мы поднялись. Встал и он. Поманив меня пальцем, позвал в кабинет, заставленный книжными шкафами. На столе лежали листы бумаги, исписанные крупным, неровным почерком. Взяв из шкафа небольшую книгу в ярко-красном переплете, раскрыл, бережно разгладил первый лист и, присев к столу, обмакнув перо в фиолетовые чернила, написал сразу, без раздумья, следующее:

«Автору «Глубокого рейда», лично пережившему страшную борьбу за Родину, кругом израненному Павлу Ильичу Федорову на добрую и долгую память. А. Серафимович. Москва 15/4 48 г.».

Стоит ли говорить, с каким чувством я принял из рук Александра Серафимовича этот подарок! До сих пор я не могу без волнения смотреть на эту книгу. На обложке кумачового переплета бегут таманцы со вскинутыми вперед штыками. Ниже: «А. Серафимович. «Железный поток», Гослитиздат, 1938 год».

Не знаю, какие слова благодарности говорил я тогда автору. Запомнилось другое. Ласково взяв меня за руку, Александр Серафимович сердечно и доверительно заговорил:

— Есть у меня к вам одна просьба...

— Да, пожалуйста, Александр Серафимович, для вас...

— Это несколько необычная просьба... — Поглаживая морщинистый подбородок, Серафимович улыбался, слушая мои неумеренно пылкие заверения о готовности выполнить любую его просьбу.

— Мне бы хотелось, чтобы вы приехали на дачу верхами на конях.

Такой просьбы я не ожидал. Даже растерялся поначалу.

— Нет у вас такой возможности? — спросил он.

— Есть. Во всяком случае, я постараюсь. — Я вспомнил о кавалерийском училище, которое находилось в Хамовниках. Начальником политотдела в то время там был мой однополчанин, бывший заместитель командира дивизии по политической части полковник Михаил Алексеевич Федоров. Я обещал сообщить Александру Серафимовичу через несколько часов.

— Уважьте старика. Хочется мне сесть в седло и хоть шагом проехать по садовой аллее. Я ведь родился в степной станице, — смотря куда-то в сторону, чуть слышно заключил Александр Серафимович.

Мы попрощались. Спустя полчаса я уже был в Хамовниках, в квартире полковника Федорова, и с ходу сообщил о просьбе писателя.

— Ну как не поехать к такому человеку! С удовольствием! — выслушав меня, сказал Михаил Алексеевич. — Возьмем четырех коней и выедем на зорьке. Даже если ехать хорошим шагом, а где-то немножко рысцой, к одиннадцати будем там...

Я достал из портфеля подарок А. Серафимовича и рассказал полковнику о находке в совхозе, о том, с каким увлечением читали у скирды и едва не взлетели на воздух, если бы не эта книга.

— Каких только чудес не было в том рейде! — Михаил Алексеевич покачал головой.

С того времени прошло чуть больше пяти лет, все пережитое теплится в памяти, было еще свежим и впечатляюще ярким. Вспомнили, как, голодные, продрогшие, мылись с ним в бане в Сычевском партизанском отряде, ели котлеты с чесноком, пили чай с медом.

— После конины, сваренной без соли, такое угощение тоже походило на чудо, — говорил полковник.

— Самое немыслимое чудо совершил тогда подполковник Калинович, — напомнил я.

— Дмитрий Ефимович! Он теперь генерал, командует дивизией! — оживился Михаил Алексеевич. — Мало того, что успешно прикрывал наш прорыв через болышак, сумел в такой сложной обстановке обмануть противника, вырваться из его

лап, да еще с таким громоздким обозом, с большим количеством раненых. Сотни километров прошел по вражеским тылам, громил их гарнизоны и без потерь соединился с нами в районе Татаринских дач. Это настоящий подвиг! Истинное героичество!

Вспоминая о пережитом, мы как-то еще крепче душевно срослись. Мы сидели в большой светлой столовой, радуясь, что дожили до этой теплой, мягкой апрельской весны. В соседней комнате заплакал ребенок.

— Дочка проснулась. — Михаил Алексеевич встал и скрылся за дверью. Через минуту он возвратился с ребенком на руках. Прижимая голубое одеяльце к груди, тетешка этот голубой комочек, говорил:

— Жену со старшей дочуркой отпустил в кино, а сам, поскольку у меня выходной, остался за няньку...

Из кабинета полковника я позвонил на квартиру Серафимовича и условился, что мы приедем на второе воскресенье мая.

Ждал я этого дня с большим нетерпением. Накануне решил еще раз побывать в Хамовниках, поговорить с коноводами, которые с нами поедут, а главное, выбрать для Серафимовича коня поспокойнее.

— Так когда же мы все-таки тронемся завтра? — спросил я у Михаила Алексеевича Федорова.

— Договоримся, — ответил он неопределенно. По выражению его лица нетрудно было заметить, что сегодня он не разделяет моего восторга от предстоящей поездки. Я тут же прямо спросил, что ему не по душе в нашей затее.

— Видишь ли, поехать, конечно, можно...

— Мы же обещали приехать!

— Все это верно. Но, ты понимаешь, человеку восемьдесят пять лет, а мы его на коня будем подсаживать...

— Бойтесь, что-нибудь случится?

— В таком возрасте все может быть...

— Да он крепкий! Степной!

— Верю. Но ты все же позвони Фекле Родионовне. Предупреди.

— Дважды сегодня звонил. Телефон не отвечает. Значит, они давно уже на даче. Мы твердо договорились на завтра...

— Позвони еще разок, — настаивал Михаил Алексеевич.

Пришлось уступить. Трубку сняла Фекла Родионовна. Узнав, в чем дело, сказала:

— Нет, голубчик, пошла уже вторая неделя, как Александр Серафимович лежит в больнице. Занемог наш батя...

С ощущением какой-то внутренней тяжести я положил трубку.

Бывалые люди не любят говорить шепотком — они либо разговаривают громко, либо молчат. Мы долго молчали. Не выдержав напряжения, я открыл книгу и, как стихи, читал заключительные строки «Железного потока»:

«Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка — тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь».

3

Прекрасна и удивительно бережлива человеческая память. Все, что легло близко к сердцу, не утрачивается, не растворяется в быстро текущем времени, а с годами кажется еще более близким и дорогим.

...Осенью 1959 года я приехал в Центральный московский госпиталь навестить больного друга, тоже участника Великой Отечественной войны, полковника Василия Семеновича Стрельникова.

— Спасибо, что не забыл, — пожимая мне руку, проговорил мой друг и тут же добавил: — Между прочим, со мной за одним столом сидит генерал Калинович, который хорошо тебя знает и будет рад повидать.

— Калинович! — Это была такая неожиданная радость, что я порывисто вскочил.

— Погоди. Не торопись. Попросим дежурную сестричку. Она позвонит ему в палату, предупредит.

Так и сделали. Встретились мы с Дмитрием Ефимовичем в госпитальной гостиной и крепко обнялись, долго и молча держась за руки. В те минуты только мы двое знали цену этой нашей встречи.

Крепкий, плотно сбитый, по-кавалерийски легкий в движениях, Дмитрий Ефимович мало изменился. Он был по-прежнему красив смуглым, сильно загоревшим на черноморском солнце лицом — жил он тогда в Одессе, — небольшими темными, с малой сединкой, коротко подстриженными усами. Немного странно было видеть на нем желтоватый пуловер, модный галстук, коричневые тщательно отутюженные брюки.

Командира 103-го кавалерийского Гисарского полка я навсегда запомнил в белом полушубке, перекрещенном полевыми ремнями, с маузером в деревянной коробке, с кавказской редкостной красоты шашкой, украшенной чеканным серебром, с лихими чапаевскими усами...

Так случилось, что я все это время находился рядом с подполковником Калиновичем, видел, как он, стоя по колено в снегу, отдавал команды артиллеристам усилить огонь по наступающему противнику, подбадривал расчет противотанковых ружей. Все это происходило в чистом заснеженном поле, освещенном пламенем горящих впереди нас колхозных хат.

Приказ на отход подполковник отдал в самые последние минуты, когда гитлеровцы стали охватывать нас с флангов. Во время отхода мы очутились с ним рядом, плечом к плечу, и не где-нибудь, а прямо в боевых порядках. Медленно пятясь, отстреливались вместе с другими бойцами и командирами — Дмитрий Ефимович из своего маузера, я из автомата ППШ.

Теперь мы уединились с ним в просторном госпитальном холле под кустистым в деревянной кадке цветком. Нам было о чем вспомнить и рассказать друг другу. Мы были участниками таких событий, которые не забываются. Мне запомнилась его улыбка — очень дружественная и доверительная. Встреча нас радовала, по-братски сближала и роднила сейчас куда больше, чем тогда под пулями, на заснеженном совхозном поле. Мы погрузились в тот ушедший, но все еще близкий для нас суровый вещественный мир.

Об удивительном, героическом походе подполковника Дмитрия Ефимовича Калиновича я знал тогда в общих чертах. Теперь мне хотелось услышать подробности от главного действующего лица. Дмитрий Ефимович все время улыбался, часто не в меру курил, больше всего интересуюсь моим здоровьем, ранениями, семейными и писательскими делами.

— Расскажите, Дмитрий Ефимович, как вам тогда удалось обмануть немцев, — спрашивал я.

— А они сами обманулись! — смеется Калинович.

— У меня до сего времени не укладывается в голове.

И если говорить честно...

— Только честно! Как же иначе? — Дмитрий Ефимович стряхнул в кадку пепел с папирасы.

— Мы ведь вас всех тогда чуть ли не похоронили... Стольких колес, саней, раненых больше ста человек!

— Сто двадцать! За них-то я и беспокоился. Мы, конечно, понимали, в какую трудную попали ситуацию. Но дело вот в чем: когда вы прорвались и ушли с легкими выюками в глубокий тыл, к Татаринским дачам, гитлеровцы до вечера вывозили с поля боя своих убитых и раненых. Ты помнишь, какое там было устроено месиво?

— Еще бы!

— Танки их мы на флангах обезвредили пушечным огнем. Часть подбили. Короче говоря, отсекали от центра прорыва, спу-

тали весь замысел. А вы смяли и затоптали в снег отборные батальоны, посаженные за большаком в засаду. Им в тот день было не до нас! Я приказал занять круговую оборону. Взять нас за здорово живешь было не так-то просто. Больше всего мы опасались бомбежки с воздуха. Обошлось... Дождались сумерек, провели обстоятельную разведку, а ночью тихо снялись и проскочили без единого выстрела. Надо еще учитывать и психологический фактор. Фашистских командиров всегда считали изощренными аналитиками, но тут им и в голову не пришло, что в этом молодом лесочке мог кто-то еще остаться... Кроме того, за четыре дня почти непрерывных боев мы их так основательно потрепали, до того измотали, что они, введенные нами в заблуждение, разбомбили свою же пехоту и танки.

— Когда вошли в лес, легче стало! — вспомнил я благодатное чувство, когда, оторвавшись далеко от противника, встретил на лесной тропе партизанского часового.

— Там уж мы двинулись лесными дорогами. Вовсю работали разведчики, да и население Калининской области встречало нас как своих избавителей, помогая выбирать такие маршруты, где противник и вовсе не ждал нас. Разведаем гарнизон, ночью ликвидируем, забираем продовольствие, оружие — и марш дальше.

— У вас, кажется, и потерь было мало?

— Не потеряли ни одного человека! — продолжая улыбаться, ответил Дмитрий Ефимович. При этом он закигал папирсы одну за другой, явно наслаждаясь каждой затяжкой. Как бывший заядлый курильщик, я по-своему понимал эту давнюю, почти непреодолимую привычку аппетитно глотать табачный дым.

— А вы здесь с какой болезнью? — поинтересовался я. Похожий на спортсмена, с живой, веселой улыбкой, генерал не походил на больного ни с какой стороны.

— Завтра меня должны оперировать, — ответил он спокойно, по-будничному просто.

— Вот как! Что именно?

— Отрежут одно легкое. Лишнее оказалось... — пошутил Дмитрий Ефимович и постучал мундштуком с очередной папирсой о коробку «Казбека».

У меня как-то часто, совсем не в лад забилося сердце, перехватило дыхание.

Он увидел, как изменилось мое лицо, обнял за плечи:

— Ничего, дружок, ничего. Сдюжим и здесь...

Я онемел, не мог поднять глаза на близкого, дорогого мне боевого однополчанина, у которого завтра должны отрезать «лишнее» легкое.

Тем временем Дмитрий Ефимович, выпустив дымок, продолжил:

— Я никогда не боялся смерти. Считал и считаю бессмысленным думать о том, когда перестанешь стучать копытцами... Человек должен быть подготовлен к этому не только, когда идет в бой, а еще раньше — на протяжении всей жизни. Кровь сначала кипит, а потом холодеет — вполне естественный, завершающий этап человеческого бытия. Конечно, спешить с этим некуда, тем более при жизни мало у нас было личного досуга...

Мы обнялись и простились, чтобы еще раз встретиться — вот на этом белом и чистом листе бумаги...

КОШЕЛЕК

1

Кефаль — рыба хитрая. Черноморские рыбаки хорошо это знают — не раз они возвращались с путины пустыми.

В теплое время года кефаль снует на мелководье, кормится среди острых камней вблизи берега. На судне в эти места не пойдешь и невод не закинешь. А если и удастся «высыпать» дельсети, рыба прыгнет через верхний подбор на высоту метра в полтора или навалится на пробковые поплавки всем косяком, сверкнет в голубизне моря серебристым светом и уйдет вся до единой. Иногда удается окружить неводом большой косяк, однако пока затягивают верх и низ, рыбы остается одна-две тонны.

Сотни лет кефаль ловили камышовыми метами, которые спускали на воду, и рыба, играя, сама на них запрыгивала. Затем перешли к так называемым «кефальным заводам», и сегодня на Черноморском побережье еще можно увидеть эту хитроумную, растянутую на кольях ловушку.

Потомственный керченский рыбак Василий Митрофанович Овчаренко говорил:

— Осталось намалевать на красном лоскуте: «Добро пожаловать» — и будь ласка, жди... А рыбу надо сыскать в море и брать на месте.

— Такую рыбу, как кефаль, не очень-то возьмешь, — возражал ему судовой механик сейнера «Киров» Сергей Остапенко.

— Если добре пошевелишь мозгой, возьмешь, — настаивал Василий Митрофанович.

— Зараз опять будет показывать свою конструкцию,— замечал капитан сейнера Владимир Крыхта, толкая локтем стоявшего рядом седовласого боцмана Миколу.

— Ось, в карман за платочком полиз,— подтверждал боцман.

Рыбаки любили своего бригадира, но не прочь были и подтрунить над ним.

«Конструкцию» Василий Митрофанович всегда завертывал в пестрый женский платок. Как только речь заходила о ловле кефали, бригадир извлекал из кармана платок, а в нем — свой маленький невод — «аломанчик», как его называют, и начинал демонстрацию.

— Слухай сюда, сухопутный...— обращался он к Остапенку.

Сергей в начале войны служил авиационным механиком, а говорил про себя так:

— Дошел до Берлина сухим путем.

«Сухой путь» Остапенко был вынужденным. Однажды, во время очередной подготовки машины с устрашающим названием «Кобра», Сергею вдруг захотелось взлететь самому. Грел, грел мотор на земле, и бац — взлетел... Взлететь-то взлетел, а вот посадить машину на землю не сумел. Чудом остался жив, ну и пришлось после этого пешком топать аж до Берлина.

— Слухай сюда и запоминай! — Василий Митрофанович присаживался на корточки и растягивал кусок дели.— Тут вяжем поплавки и поднимаем над ними парашет...

— Який там, Василий Митрофанович, парашет! Така скаженна рыба сиганет через верх...

— Толкую тебе, дурю, що поставим парашет из палок, с дополнительной сеткой, и такой, щоб не прыгала!

— Не будут держаться твои палки, поплывут на боку. Уж я механику знаю, будь здоров.

— Не поплывут, а будут стоять, как солдаты,— упорствовал бригадир. Над ним посмеивались, а он упрямо щурил свои голубые строгие глаза, запирался в кладовой, где хранились старые дельфиновые невода, и часами колдовал над своим изобретением. Когда-то, до войны, Василий Овчаренко был знаменитым в Крымском бассейне дельфинером. Промысел дельфинов после войны прекратился, и в то время, в сорок восьмом году, Василий Митрофанович был одержим кефалью. Однажды он принес модель маленького невода, усовершенствованного им. Невод имел парашет — палочки с кольцами, укрепленные на тонкой, частой хамсовой дели.

Бригада была в восторге.

— Колоссально! — восхитился Остапенко.

— Подходяще, — подтвердил боцман Микола.

— Добра придумка, — сказал капитан Крыхта, — только не знаю, как начальство посмотрит.

В рыбтресте посмотрели и спросили:

— А сколько нужно дели на твой аломан?

— Четыреста метров длина, девяночка — в подборе. Вот и вся арифметика, — ответил Овчаренко.

— Тю-ю! В корыте твой невод действует, а как он встанет на большой воде?

— Побачим.

— То-то и оно! Нет у нас столько дели для твоего эксперимента.

Дня два спустя Василий Митрофанович появился в приемной Симферопольского обкома партии, с узелком в руках, в синей моряцкой куртке, в серой кепочке, блином сидевшей на большой, лобастой голове.

— Вы, товарищ, по какому вопросу? — спросила секретарь.

— У меня не свой вопрос, — уклончиво ответил он.

— Не личный, хотите сказать? — снисходительно поправила девушка.

— Да, государственный. — Василий Митрофанович волновался, чувствовал слабость в ногах и потому без приглашения присел на диван, заранее настраиваясь на то, что между ним и этой особой не может быть откровенного, дружелюбного разговора, да и узелок его не шибко ей интересен. Он был убежден, что все секретарши посажены для того, чтобы оберегать начальство от посетителей, и настороженно ждал, что сейчас она начнет пытаться его, выспрашивать, что да почему, и, конечно, попытается не поустить.

— Значит, государственный... И вам непременно нужно к первому?

— Обязательно! — с вызовом в голосе подтвердил Василий Митрофанович. — Я всегда хожу только к главным начальникам, потому что неглавные сами ничего не решают, а все равно идут потом к главным... Уж лучше до разу зашел, и баста!

— Вот вы какой! — улыбнулась девушка. — Может быть, скажете, что же это за государственный вопрос?

— Охотно! Только для этого нужна ванна...

— Ванна? — Девушка расширила глаза, спросила тихо: — Вы серьезно?

— Вполне. Тут, понимаете, какое дело...— Василий Митрофанович тряхнул узелком и с добродушной улыбкой добавил: — Дело рыбацкое, не интересно вам.

— У вас что в узелке, рыба?

— Снасть.— Овчаренко вдруг проникся к девушке доверием и начал было пространно объяснять, для чего ему нужна ванна. В это время вошел первый секретарь.

— А я слушаю и не пойму, кто это ведет разговор о ваннах,— сказал он, когда они остались вдвоем.— Опять белугу, что ли, поймал?

— Такое, Родион Петрович, не часто бывает.

Оба они помнили тот случай.

В те дни шла Ялтинская конференция. Во время одной из встреч со Сталиным Рузвельт стал расспрашивать, какая в Черном море водится рыба. Сталин среди прочих назвал белугу.

— Это ценная рыба,— сказал Рузвельт.

— Да, очень,— согласился Сталин и тут же дал распоряжение поймать крупную рыбу.

На другой день все трестовские и колхозные рыбаки, несмотря на шторм, вышли в море. Возле Медведь-горы бросила переметы на четыреста дрючков и бригада Василия Овчаренко.

Рыбаки знают, что февраль и март — самые непутевые месяцы на Черном море: постоянно штормит, и рыба не ловится. Каждый день Василий Митрофанович со своим другом, бывшим партизаном Сашей, проверяли переметы и возвращались ни с чем. Не могли выполнить задание и другие рыболовецкие бригады. Ежедневно к рыбакам навещался Родион Петрович, а ему позванивали из Воронцовского дворца.

Как-то на рассвете, стоя на носу катера, Василий Митрофанович увидел глубоко ныряющий у перемета буй, а море в то утро плескалось устало, нехотя.

— Знаешь, Сашка, а ведь там что-то попало!

— Должно же! У меня предчувствие! — пытаюсь перекричать стук мотора, ответил Саша. Не выпуская руль, он приподнялся, стараясь поймать глазами прыгающий на ленивой волне пробковый буй.

— Ей-богу, хвост, щоб я пропал! Держи помалу, а когда подойдем ближе, глуши машину! Ну, есть же! Есть! — кричал Овчаренко.

Саша снизил обороты, и катер медленно заскользил по встревоженной воде. Большая желтая пробка с мокрым, поникшим флажком напряженно вздрагивала.

— Стоп! За весла, Сашка, а я конец возьму.— Василий Митрофанович выбросил за борт дымящийся окурочок и, нагнувшись, захрустел жесткой брезентовой робой.

Мотор захлебнулся и умолк. Саша взял весла, лягнул уклучинами.

— Большая рыба! — оторвав грудь от борта, хрипло сказал Василий Митрофанович и повернул к Саше смеющееся, обветренное лицо.

— Подтягивай! Чего же ты? — торопил его Саша, боясь спросить, что же за рыба попалась им на перемет.

— Брось весла и быстро иди до меня, — не оборачиваясь, сказал Василий Митрофанович.

Саша перешагнул через среднюю банку и нагнулся к борту. Старый катер, работы знаменитых керченских мастеров, был устойчив и накренился только слегка.

— Белуга, Вася! Ты в рубахе родился, парень!

Поднимаемая на поводке кверху рыбина показывала свою темную могучую спину, крылатые плавники, освещая прозрачную морскую воду неярким голубым светом. Белуга, видимо, села на крючок давно, долго билась и теперь послушно покоялась рыбацкой руке.

— Вася, голуба, только не отпускай! — молил Саша. — Может, тебе помочь?

— Не треба пока...

Большая, усталая рыбина приближалась к поверхности, к свету. Она не хотела этого, пыталась отвернуть голову, но крючок не пускал. Тогда она уперлась на плавники и легла на бок, блеснув серебристой брюшиной.

— Вася! — задыхаясь, крикнул Саша.

— Ну чего ты! Не шуми, дурень!

— Ты гляди, гляди! Крючок-то держится на самой верхней жилке! Ой, уйдет! Да ты видишь или нет?

— Давно вижу. Приготовь большую пробку.

— Зачем?

— Ох же жаль, що конца близко нема. Я бы тебя приластал... Пробку, говорю! — грозно крикнул Овчар, так называли его в бригаде.

Пока Саша лазил под банку за пробковым, от дельфинового аломана, поплавком, Овчаренко осторожно подвел рыбину к самому борту, слегка приподнял ей голову, дал глотнуть воздуха, заставив раскрыть огромную зубастую пасть, и только тогда по-настоящему разглядел, что крючок, зацепившись за верхнюю губу, держался на тонком хрящике. Рыбина была крупной, около двух центнеров, как мысленно определил Василий Митрофанович. Стоило ей сильно пошевелить хвостом, дер-

нуть головой, хрящик мгновенно лопнет, и тогда — гуляй себе по черноморским просторам.

— Уйдет, стерва! — сжимая в руках пробку, безнадежным голосом проговорил Саша. Теперь до белужьей башки можно было дотянуться рукой, и он ясно увидел, как ненадежно держится крючок. Мелькнула мысль спросить у Овчаренко, что он хочет делать с пробкой, да не решился. По себе знал, как в такой момент все горит внутри у рыбака.

Свесившись всем туловищем за борт, Василий Митрофанович сам спросил:

— Ну, принес?

— Вот она!

— Зараз слухай меня, Сашка! Я подтяну ее трошки поближе, ты сунь ту пробку ей в пасть, а я запихну руку...

— Ты, Овчар, спятил!

— Делай, що тебе говорят! Ну!

На борту слились воедино две брезентовые робы и две головы в сморщенных, просоленных зюйдвестках. Саша сунул в пасть белуги пробку, Василий Митрофанович рукой прочно ухватился за твердые хрящи в глубине. Белуга начала биться. Плохо соображая, Саша мертвой хваткой вцепился ей в жабры.

Говорят, что белуга по-звериному воет на крючке, а тут она, не пикнув, перевалилась через борт и вместе с рыбаками скатилась на дно катера.

— Васька, друг ты мой! Кто же зараз будет суперечить, что ты не в рубашке родился? — буйно хохоча, кричал Саша.

— А я и не суперечу, — вытирая взмокший лоб зажатой в кулак зюйдвесткой, тихо ответил Василий Митрофанович.

Приближаясь к порту, они подали знак, что идут с добычей. На причале их ждали Родион Петрович и машина с ванной в кузове, которую наполнили морской водой. В нее уложили живую еще белугу весом в десять с половиной пудов.

Вот о чем вспоминали спустя четыре года первый секретарь обкома и рыбак Овчаренко. Перебивая друг друга, они не раз повторяли одни и те же детали, не замечая этого и не следя за временем.

— Часы-то твои целы?

— А то как же? Висят на стенке. — Василия Митрофановича премировали тогда часами.

— Ну, а сейчас что у тебя? — спросил секретарь обкома.

— Насчет рыбы опять же!

Через полчаса Василий Митрофанович демонстрировал свое изобретение в наполненной до краев ванне и объяснял секретарю что к чему.

Вернулся Василий Митрофанович из Симферополя довольный. Родион Петрович обещал взять его изобретение под свой контроль.

Веселый, чисто выбритый, Овчаренко пришел в порт первым. Вскоре появился и механик.

— Ну как, Василь Митрофанович, с аломаном? — спросил Остапенко.

— Зараз, Серега, щоб ты наперед знал, аломана не будет. Пусть это слово утопнет на дне морском. Оно не наше, турецкое. Мы, братка, начнем делать наш, советский кошелек.

Кошелек стали мастерить сообща, всей бригадой. Чтобы поспеть к путине, работали и днем и ночью. К концу февраля все было готово, за исключением парапета, который и являлся гвоздем изобретения. Всех смущали палки. Как сделать, чтобы они стояли вертикально и не путали, не рвали невод при выборке? На модели палочки были легонькие, аккуратные, а тут — тяжелые, чуть ли не в килограмм каждая. На собрании бригады решили привязать к нижним концам палок дополнительный груз, тогда они не упадут на воду, будут держать парапет, и кефаль не сможет одолеть высокий частокол.

Бригада, если не считать боцмана Миколу и бригадира, состояла из молодежи. Ребята пришли в восторг, а бригадир хмуро поглядывал то на палки, то на четырехугольные пробковые поплавки. Василий Митрофанович чувствовал, что ликовать рано, он видел несовершенство кошелька.

— Сколько у нас должно быть палок? — спросил бригадир. Он не был силен в арифметике, да и просоленные морем руки отказывались держать карандаш. Все вычисления производил Остапенко.

— Длина кошелька — четыреста пятьдесят метров, — ответил Сергей.

— Значит, на каждую палку примерно килограмм груза, — проговорил Василий Митрофанович и, грустно покачав головой, добавил: — Не пойдт такое дело, хлопцы. Дополнительный груз в четыреста пятьдесят килограммов утопит поплавки и всю дель перепутает к чертям собачьим. Да и вообще с грузом мы чепуху придумали...

— Что же делать? — спросил Крыхта.

— Вы, Василий Митрофанович, не сказали еще своего последнего слова, — заметил Остапенко.

Овчаренко ответил не сразу, задумчиво потер жесткой ладонью морщинистый лоб. Идея у него уже родилась, но он еще не решался высказать ее. Радость открытия всегда вызывала у него сердцебиение, и, чтобы успокоиться, он сказал:

— Последние слова говорят, когда ко дну идут...

— Тогда они уже ни к чему, — возразил боцман Микола и сердито толкнул большим сапогом сваленную в кучу дель — их новый невод. Сколько вложено труда в эту, пока еще мертвую снасть!

Они работали под навесом складского двора, куда доносились гулкие удары беспокойного моря. И погода была неласковой, и дело не клеилось. Рыбаки приуныли.

— Наверное, хорошо быть умным человеком — все ему ясно, все ему видно, как в тихой морской воде, — не унимался Остапенко.

— Если бы не было дурней, то откуда взяться умным! На ком бы ты проверял свою техническую мозгу? — отрезал бригадир. — Знаете что, хлопцы, попробуем привязать наши палки к пробкам, — неожиданно предложил он.

Мысль бригадира дошла до всех мгновенно. «Сухопутный» сообразил первым и с удивлением посмотрел на строгое, умное лицо бригадира. Сотни лет рыбачили, но ни турки, ни греки, знаменитые кефальщики, не сумели усовершенствовать невод, а вот керченский рыбак Василий Овчаренко это сделал!

Остапенко вскочил и шутливо крикнул:

— Вира, хлопчики! Качнем нашего бригадира и заодно посмотрим, какая у него на коже сорочка.

— Но, но, не дури! — Бригадир растерянно попятился, но рыбаки уже вскочили и плотно окружили его со всех сторон.

3

Сейнер «Киров» вышел из Ялтинского порта в один из дней конца февраля сорок восьмого года почти незаметно. В плавание, в котором будут испытывать новый кошелек, решили отправиться без обычных шумных проводов.

Море встретило рыбаков свирепой штормовой волной. Над Ай-Петринской горной грядой нависли серые тучи, набухшие дождем и снегом. Белые звездные пятючки зловец вихрились вокруг мачты, путаясь в проволочных нитях радиоантенны.

Василий Митрофанович знал ялтинский водоем, как свое подворье. Все места, где зимовала кефаль, были ему известны. Знал он также, где и на какой глубине залегают ставрида и скумбрия, не успевшие уйти в Средиземное море. Овчаренко спорил с учеными, доказывал, что Черное море и в это время года хранит несметные рыбные богатства. Среди зимы он с большой глубины поднял ставриду.

— Залегает ярусом в пятиэтажный дом.

— Вы там были? — иронически спрашивали его научные работники.

— Там был мой трал, — возражал Василий Митрофанович.

— Чушь! Случай!

— А я докажу, что не случай, и поймаю кефаль и ставриду зимой, в пургу.

И он показывал это не раз. Теперь ему следовало доказать еще, что его кошелек будет работать хорошо. В душе он был уверен, что все будет в порядке, но все же тревога не покидала Василия Митрофановича.

Как он и предполагал, большой косяк кефали стоял неподалеку от Ливадии, напротив вздыбившихся вдоль берега скал. Черные камни заливали вспененные волны. Дель «высыпали» прямо с ходу и окружили большое количество рыбы. Уже закрипела лебедка, натянулись тросы... Но Черное море коварно. Вдруг налетел сильный шквал и обрушил на палубу стену мокрого снега. Водяной вихрь закрутил еще не затянутый тросами невод и бросил под днище сейнера. Подхваченная работающим винтом дель, как живая, поползла под корму взлетавшего на волнах суденышка, начала трещать и рваться.

— Машина, стоп! — иступленно крикнул с капитанского мостика Крыхта.

Остапенко застопорил двигатель, но было уже поздно. Дель намоталась на винт, и сейнер перестал слушаться руля.

— Ножи! Быстро! — Голос Василия Митрофановича заглушал шум моря и скрип снастей.

Концы исполосованной ножами сети мотались за кормой. Ошеломленные рыбаки в залепленных снегом бушлатах, глотая соленые капли, не сразу пришли в себя, все произошло в одно мгновение. Но команда еще не знала, что на судно надвигалась другая, более страшная беда. С первых же минут это понял капитан сейнера Владимир Крыхта: судно, потерявшее управление, несло на прибрежные скалы. Если через час не придет буксир — конец. Чтобы не волновать людей, выбравших остатки невода, Крыхта осторожно спустился в радиорубку и приказал радисту вызвать из порта вспомогательное судно.

Остапенко первые минуты находился в каком-то оцепенении, и тем не менее он разгадал замысел капитана. Сергей представил, как они войдут в порт на буксире, а потом их ошвартуют у причала, и водолазы начнут освобождать винт от сети, а рыбаки с других посудин станут скалить зубы по поводу Овчара и его выдумки. Война и его единственный полет научили Остапенку, что в трудных случаях нельзя думать толь-

ко о себе. Вместе они делали новый невод, теперь вместе будут горевать, могут и утонуть все вместе, когда буря швырнет судно на камни. Он всегда готов был рискнуть ради товарищей, как не раз рисковал на войне, на пути к Берлину.

Сергей подкараулил капитана, когда тот поднимался из радиорубки.

— Ты вызвал катер? — спросил Остапенко.

— Да.

— Наверное, зря...

— Ты так думаешь? — Володя Крыхта был всегда спокоен и тверд в своих решениях.

— Ты и сам все знаешь...

Остапенко торопливо снял синий, испачканный маслом комбинезон; в трусах и тельняшке он был красив и статен. На его крепкую, темную от загара шею, на сильные, с буграми мышц руки ветер рожисто лепил хлопья снега.

— Что ты, Серега, задумал? — спросил капитан.

— Хочу поплавать.

Подошел Василий Митрофанович. Под капюшоном его робы вспыхивал и тут же гас окурочек сигареты.

— Ты что, решил загорать? — спросил он.

— Думаю винт трохи почистить, — ответил Сергей, застегивая ремень, на котором висел в чехле большой нож.

— Не дури! — крикнул бригадир. — К рыбам захотел?

— И к рыбам не хочу и на буксире тоже...

— Ничего, Василий Митрофанович, — твердо сказал Крыхта. — Потом отогреется возле машины. Бувай, Сережа! — кивнул он механику.

Бригадир не успел опомниться, как Сергей, держа в руках конец веревки, скользнул с трапа в синие недобрые волны.

4

Сергей Остапенко нырнул под корму и пропал в морской бездне. Буря усиливалась. Волны начали захлестывать палубу. Громыхал слабо привязанный багор, за палубной надстройкой свистел ветер. Сейнер все сильнее раскачивался на волнах, его несло на береговые скалы.

Крыхта определил расстояние — триста метров. Где уж тут поспеть портовому буксиру!

Рыбаки ждали, не спуская с трапа глаз, им хотелось остановить неумолимое время. Палубу и спутанную дель на корме густо засыпало снегом, но люди не чувствовали холода.

Остапенко вынырнул внезапно. Показалась голова с темными, прилипшими к ушам волосами, затем — тельняшка.

— Там теплее, — проговорил Сергей, лоя ртом воздух.
— Много навинтило? — спросил бригадир.
— Разов за пять справлюсь, — ответил механик. Отдышавшись, он снова исчез под днищем.

На судно надвигался берег с крутыми скальными обрывами, с оголенными крымскими дубками; кое-где маячили темными восклицательными знаками, пьяно покачиваясь на ветру, кипарисы.

Крыхта посмотрел на часы. С того времени, как Сергей нырнул в первый раз, прошло всего-навсего три минуты. Потом никто из рыбаков не мог вспомнить, сколько раз Сергей Остапенко нырял к винту и всплывал на поверхность, чтобы, держась за поручни трапа, отдышаться. Владимир Крыхта уверял, что по часам он справился за двадцать минут. Наконец Остапенко медленно поднялся по трапу и, не сказав ни слова, ступил босыми ногами на заснеженную палубу. Оставляя на снегу отпечатки больших ступней, он медленно прошел по палубе и скрылся в машинном отделении. Через минуту винт взбурлил еще более расшвирипевшее море, и внизу ровно застучала машина.

— Вот так «сухопутный»! — сказал Овчаренко.

— Право руля! Полный! Так держать! — скомандовал капитан и, обернувшись к стоявшему рядом бригадиру, прокричал: — А парапет-то, Василий Митрофанович, добре работал. Палки стояли, як моряки на вахте! Здорово!

— Еще бы! — Маленькие, глубоко запавшие глаза бригадира сердито прищурились. — Все здорово: кошелек порвали — здорово, пустыми едем — тоже здорово... Эксперимент, щоб я подох... — Круто повернувшись, он показал вздымающимся волнам кулак.

В порт прибыли в самый полдень. Томимые бездельем рыбаки кучками стояли у причала. Интересуясь результатами испытания, наперебой спрашивали:

— Ну как, Овчар?

— Так, как есть, — хмуро отвечал Овчаренко.

— А рыба, рыба есть?

— Будет и рыба.

— А в трюме?

— Будет и в трюме.

Сердито сплунув в море, Василий Митрофанович медленно пошел навстречу Родиону Петровичу, стоявшему в окружении работников порта и треста.

— Всю дель, Родион Петрович, загубил. Начисто — с ходу проговорил Овчаренко.

— Как?

Василий Митрофанович объяснил.

— Ну, что ж...— Родион Петрович раскурил на сыром ветру папиросу.— Будем считать, что вы еще легко отделались,— добавил он. Шагая рядом с Василием Митрофановичем, он спокойно расспрашивал о подробностях, больше всего интересуясь тем, как же все-таки сработал овчаренковский парапет.

— Снасть новую, можно сказать, освоили,— кратко ответил Василий Митрофанович.

— Вы в этом уверены?

— Ручаюсь. Да и люди подтвердить могут. Они геройски себя проявили. Разве им можно не верить?

— Верю. И пусть вас не смущает неудача. Дадим новую дель. Вашим усовершенствованием интересуется товарищ Микоян. Он знает вас еще по довоенной рыбалке. Я дал ему слово, что вы освоите новый кошелек. Можно надеяться?

— Можно.

Тут секретаря обкома плотно обступили работники рыбтреста, они поддержали Василия Митрофановича, предлагая дель хоть еще на два новых кошелька. Говорили о шторме, о будущих уловах, о значении новаторства и о многом другом.

5

Василий Митрофанович любил подержать в руках новую, еще не намоченную дель — она ощутимо, привычно словно текла сквозь пальцы. Приятно потом растянуть ее на кольях, поработать челночной иглой, привязать грузила, поплавки, а еще приятнее видеть, как эти скрипучие пробки топят рыба. Даже один вид снасти каждый раз возбуждал желание скорее очутиться в море, высыпать кошелек в синюю глубь, ощутить дрожь натянутых канатов, когда в стенки невода давит живой косяк рыбы. Каждый настоящий рыбак с нетерпением ждет этой волшебной минуты.

Пока всей бригадой несколько дней чинили изорванный кошелек, авиаразведка сообщила, что в районе Алупка — Сара сбился большой косяк кефали. Нужно было спешить. Василий Митрофанович подбадривал бригаду, говорил, что предчувствует богатый улов.

— Зараз уже не промажем, будь ласка!

— А ежели к тому косяку еще кто подберется? — тревожно спрашивал боцман.

— Если мы еще неделю прочедемся, конечно, подберется,— отвечал Овчаренко.

Сергей Остапенко считал своей привилегией поддерживать бригадира. О нырянии он ни разу не заикнулся, да и не любят моряки много говорить о своих подвигах. Мало ли их впереди?

— Чесать потылицу у нас, конечно, нема времени, — замечал он. — Мы еще, Василий Митрофанович, ось як возвысимся!

— Снова как на той «Кобре»? — насмешливо спрашивали товарищи.

Сергей не обижался на шутки.

— Чем, дурни, человек может возвыситься над самим собой?

— Ну чем? — своим ласковым, спокойным тенорком спрашивал Крыхта.

— Трудом. Он творит, потому и поднимается над житейством!

Ремонт невода закончили в самый короткий срок. Однажды ранним утром команда собралась на судне, но в порту увидели сигнальные флажки о надвигающемся шторме.

— Скоро не стихнет, хлопцы, — заметил Василий Митрофанович.

Действительно, «новороссиец» гнал девятибалльную штормовую волну в течение шести дней. Безделье утомляло. Поутру в надежде, что шторм поутихнет, собирались на сейнере; постував костяшками домино, шли в подвальчик и тянули терпкое крымское вино. Слушали байки и скрип покачивающихся в бухте кораблей. Даже сюда, в винный погребок, доносился знакомый грохот взбесившегося моря.

— Если завтра хоть чуть поутихнет, выйдем на пробу, — сказал как-то бригадир. — Всю эту кислятину нам все равно не выпить... Завтра даю команду быть на судне рано утром, и щоб мне ни одного похмельного. Поняли? Если учую запах, в два счета сплшем на берег.

Все знали, что у Овчара железный закон: принес бутылку на судно — простишь с бригадой.

— Здається мне, шо сегодня, с вечера, штормяга начнет укладываться на покой... Надо быть начеку, хлопцы, — сказал в заключение Василий Митрофанович.

Многолетний моряцкий опыт, перенятый от древних керченских листригонов, научил рыбаков чутя погоду. Василий Митрофанович не ошибся. К утру шторм уменьшился на два балла. Бригадир приказал поднимать якорь. Несмотря на семибалльный шторм, «Киров» затемно покинул порт и на рассвете уже храбро раскачивался в районе Алупка — Сара.

— Скажи рулевому, щоб держал бережней, туда, где бакланы, — распорядился Овчаренко.

Где птица, там и рыба. Крыхте не надо было это объяснять. Теперь уже все рыбаки видели, что бакланы кружатся

над косяком рыбы. Круто падая на воду, они выхватывали серебристых лобанов.

— Ну и обжоры! Крыхта, чуешь, сколько рыбы?

— Ясно! Только вот камни...

— Нема тут камней. В шторм кефаль уходит от них морстей.

— Будем сыпать? — прокричал боцман.

При таком шторме выбрасывать невод было опасно, могла повториться недавняя история: или волна подбьет дель под винт, или опять швырнет на кошелек днище судна. Василий Митрофанович приказал бросить якорь.

— Качаться будем? — спросил боцман.

— Будем ждать промежуточного затишья. Команде завтракать горячей картошкой и отдыхать, — бодрым, веселым голосом проговорил бригадир.

В реве шторма Василий Митрофанович находил свою прелесть и наслаждался им, как музыкант хорошей музыкой. Час за часом бунтующее море заставляло сейнер напряженно плясать на волнах с седыми гребнями. Ненасытные бакланы и чайки кружились над косяком кефали и истребляли рыбу тысячами. Василий Митрофанович ненавидел эту прожорливую птицу и жалел рыбу, как собственную. Косяк стоял близко. Рыбы было много, может, сто тонн, а то и двести. А как ее взять?

— Когда же утихнет этот ведьминский шабаш? — спрашивал Остапенко. Он то и дело спускался в трюм, проверял машины.

— Подождем еще трошки! — говорил Василий Митрофанович. — Все равно умается...

Наконец «новороссиец» стал выдыхаться. Реже и слабее вздымались волны, а в промежутках совсем затухали. В один из таких длительных промежутков Василий Митрофанович приказал поднять якорь.

— Будем заходить с подветренной стороны, — сказал он капитану.

Развернувшись на захлебнувшейся у борта волне, сейнер пошел прямо на стаю птиц. Вся бригада собралась на корме возле расчехленной дели.

— Приготовиться! — скомандовал Крыхта.

Два матроса быстро подтянули прыгающий за кормой ялик. Когда он скребнул по борту, один из них ловким, рассчитанным движением скользнул на дно ялика, а другой бросил ему конец троса, сложенного в кольцо у самого борта. Моряк взмахнул веслами, и желтый ялик, подхваченный попутной волной, потащил за собой трос и за ним — дель. Матрос на

ялике должен был обойти весь косяк, затем передать конец троса на сейнер.

— Сыпы! Полный вперед! — раздалась команда.

— Не зевай! — голосисто закричал боцман. Его серые глаза колюче прощупывали каждого рыбака на сейнере, и если кто замешкается, в его сторону летело: — Быстро!

Василий Митрофанович стоял рядом, наблюдал, как аккуратно лежавшая на корме дель отделялась пластинами, ровно текла через подставленные им руки в море, извиваясь, выравнивалась в стенку, и палки, посаженные на пробки, вставляли торчком на зеленых волнах. Парапет, поблескивая колечками, как и в предыдущий раз, крепко держался на воде, но у поплавок пока еще не показался ни один рыбий хвост. Может, кефаль испугалась качающихся палок? А может, ушла под нижний подбор?

Круг примерно в шестьсот метров ялик обежал в несколько минут, и боцман принял конец веревки. Заскрипели лебедки и натянули тросы. В течение двенадцати—четырнадцати минут верхний и нижний подборы были собраны. По мере сближения обоих крыльев продетый в кольца парапета шнур натянулся, и палки плашмя упали на воду. Если бы рыба стала прыгать, она все равно попала бы в парапетную дель. Однако на поверхность не выскочила ни одна рыбина. Машина медленно продолжала подтягивать правую и левую клячи.

Друг лебедка вздрогнула, напряженно заскрежетала и замерла на месте. Натянутые, как струны, тросы певуче позванивали, казалось, что не пройдет и секунды, как раздастся звонкий треск и лопнувшие тросы с визгом взлетят над палубой. Машина по команде застопорила, и боцман Никола успел ослабить лебедку. Все замерли. Только чайки, истошно крича, метались вокруг судна. На глазах у рыбаков парапет вместе с поплавками медленно погружался в воду. Они растерянно поглядывали на бригадира, как солдаты на проигравшего сражение полководца. Очевидно, невод зацепился за камни.

Василий Митрофанович, хрипло крикнув, глубоко нахлобучил на лоб зюйдвестку, схватил заранее приготовленный длинный шест и мгновенно, как птица, слетел по трапу в ялик. Не говоря ни слова, следом за ним прыгнул боцман и взялся за весла.

Волны швыряли четырехвесельный ялик, словно деревянный башмак, шторм снова начал усиливаться. Балансируя возле передней банки, как цирковой артист, Овчаренко, размахивая шестом, вспарывал пузырчатую воду. Море швыряло ему в лицо каскады соленой воды, чайки визжали и садились чуть не на плечи, а бригадир, ворча, пронизывал воду гибким ше-

стом, ища место зацепа. Нащупав что-то, он замер на несколько секунд и велел Миколе грести медленнее. Шест гнулся и, как живой, дрожал в его усталых руках.

— Есть зацеп! Вира к сейнеру, думать будем,— сказал Овчаренко боцману, тяжело перевел дыхание и вытер полый бушлат мокрым лицом. На его крепко сжатых губах Микола увидел нелепую дерзкую улыбку.

Поднявшись на палубу, Василий Митрофанович с шумом бросил шест вдоль борта, молча полез в карман широких брезентовых брюк за сигаретами.

— Ну, что там? — спросил Крыхта своим обыкновенным, теперь, казалось, до неприличия спокойным голосом.

— Рыба,— негромко ответил Овчаренко.

Море как-то увяло и не так уж зло хлестало по бортам, уменьшилось давление на вздувшийся, как огромный пузырь, невод. Чаек прилетело еще больше, и кричать они стали еще громче, неистовее. Мартовский день по-весеннему посветлел, ветер стихал, вдалеке, между тучами, взметнулось солнце.

Овчаренко чиркнул зажигалку-снарядик и, торопливо прикурив, громко, с хрипотой в голосе выкрикнул:

— Рыба, говорю тебе! Много рыбы, хлопцы, щоб мне самому туда нырнуть. Много ж рыбы! Я тридцать лет рыбалю, но столько не видел!

Ошарашенные прошлой неудачей и лютым штормом, рыбки беспрепятственно жгли сигарки, одну за другой. Они знали, что Овчар зря говорить не станет, но ослабевшие тросы все же вызывали сомнение... Да и бригадир продолжал улыбаться неподходящей, тревожной улыбкой.

— Вот, товарищи, какое дело... Зацепили мы слишком много, что будем с рыбой делать, не знаю. Легла на дно и, как глыбой, придавила нижний подбор. Ткнул шестом, чую — сплошь рыба, аж дрожь в руках заиграла. Сердце стучит, будто зажатый в ладонь сарган. Сколько ее там, точно знает только водяной, а я за две тысячи пудов ручаюсь. И такой тут крупный лобан, шест может надломить... Как будем подымать? Машина не тянет, а если и потянет, может кошелек лопнуть. Гадайте, хлопцы!

А на море долго гадать некогда.

— С чего начнем? — спрашивал бригадир.

— Думаю, нужно начать со середины,— предложил Сергей Остапенко.

— Добрая мысль,— подхватил Василий Митрофанович. Еще когда он был дельфинером, приятели в шутку говорили: «У Овчара столько в башке идей всяких, сколько в неводе тюльки».

— Зараз, хлопцы, заседать нема времени. Начнем выбирать кошелек именно со середины, от нижнего подбора, и разделим его пополам. Серега у нас механический человек, он знает, что к чему.

Не все рыбаки сразу поняли, как можно разнять такую машину. Боцман усомнился.

— Как его поделить? Порезать? Що вам тут — морожено, чи що? — спрашивал он. — Да и штормяга опять раскачивать начинается.

Небо снова затянуло тучами. С моря подул тугой холодный ветер. Летевшие на палубу брызги стыли в воздухе и льдинками липли к снасти.

— Ты говоришь — резать? — обращаясь к боцману, спрашивал Овчаренко. — Я давно чув, що у нашего Миколы така мудряца башка! Обязательно порежем! Если хочешь быть с рыбой, бери нож и режь пополам!

Остапенко подал бригадиру нож, и Василий Митрофанович показал, как нужно действовать.

— Стихия! — захохотал Микола. — Его ж потом в два счета связать можно!

Трудная это была, но зато радостная работа на семибалльном ветру. Выбирали дель голыми руками. Ледяная вода судорогой сводила пальцы, но никто из рыбаков не обращал на это внимания. Один человек вспарывал дель ножом, другие втаскивали ее на палубу. Почувяв неладное, рыба опускалась все ниже и ниже, в результате образовалось два крыла, и в каждом кипело, билось не менее двадцати тонн отборной кефали. А всего взяли сорок тонн, или две тысячи четыреста пудов, за один зачет! Небывалый случай! Трюм, матросский кубрик, камбуз — все было завалено рыбой. Три часа спустя после захода сейнер «Киров» медленно подходил к своему причалу с ватерлинией, утопленной по самые бортовые закрайки. Заработок бригады составил в тот день 87 500 рублей.

В одном популярном московском журнале была напечатана фотография: знаменитый бригадир Василий Митрофанович Овчаренко сидит на корточках среди кучи рыбы и, улыбаясь, показывает лобана величиной в добрые три четверти метра.

* * *

С Василием Митрофановичем Овчаренко, Сергеем Сергеевичем Остапенко, Владимиром Федотовичем Крыхтой и боцманом дядей Колей автор познакомился двадцать лет назад в Ялте. На сейнере «Киров» он не раз ходил с ними в море

и видел своими глазами, как осваивался кошелек с парашютом Овчаренко. Даже результаты первых забросов были поразительными.

Прошло несколько месяцев. За это время в изготовлении снасти для ловли кефали произошел коренной переворот, и Василий Митрофанович как новатор быстро пошел в гору. Его имя нередко стало упоминаться в газетах и журналах, а в Крыму о его изобретении уже кто-то писал книгу. Несколько раз его приглашали в Москву, в Министерство рыбной промышленности. Он делал доклады на слетах и семинарах, заседал чуть ли не в Академии наук. Изобретение прошло не только суровое испытание в море, но и основательно было проверено специалистами. Каждый раз, когда он приезжал в Москву, мы встречались и вели разговор о кошельке, о богатых уловах.

В 1969 году, будучи в Ялте, я по старой дружбе решил заглянуть к рыбакам. За двадцать лет в Ялте пришлось побывать всего один раз, но все значительные события имеют доброе свойство — они никогда не забываются. Я всегда уважал рыбаков, их нелегкий труд, любил смотреть, как их сильные узловые руки перебирают терпко пахнущую морем дель. Хотелось увидеть старых друзей и посидеть с ними в винном погребе и вдоволь послушаться сочной чистопородной рыбацкой речи.

На колхозном дворе мне встретился огромного роста дядька в серой брезентовой куртке, с седой щетиной на щеках. Он нес большое рыбацкое ведро, прикрытое куском дели.

— Здравствуй, дядя Коля,— проговорил я.

— Не помню я вас что-то,— щуря белесые брови, сказал он.

Мне пришлось назвать себя.

— А-а-а! — радостно воскликнул он, и мы поздоровались.— А я вот иду...

— Далеко?

— Та хлопцы попросили уха сварить. Только шо вернулись с моря. Порыбалили добре! — Он снял сетку и показал крупных кефалей и розоватую барабульку.

Когда под добрую чарку крымского вина была отведена отварная кефаль, выхлебана ни с чем не сравнимая уха, начались воспоминания. Больше всех говорил дядя Коля:

— Овчар на пенсии, но нас не забывает. Другой раз выходит с нами в море. Для рыбалки больше его никто не сделал. Как он поставил кефальный кошелек, так им и ловим. А Владимир Крыхта зараз капитаном на теплоходе «Симеиз», а Сергей Остапенко командует на «Чехове». Хлопцы что надо, каждый на своем месте. Справные оказались моряки.

Василия Митрофановича я застал дома, с малярной кистью в руках. Живет он в глубине двора старого жактовского дома, занимает две комнатухи. Пристроил к ним немудрую веранду и размалевал ее голубой краской. Мы присели на скамейку и повели неторопливый разговор.

— Старость, щоб ты пропала! Тут кольнет, там дернет... Недавно вышел в море, постоял на ветру — щека онемела, на силу растер, вот що такое старость!

— Ну, а как действует ваш кошелек? — спросил я.

— Да що ж кошелек! Все им рыбалят. Как-то на днях прочитал статью в газете, хвалят кошелек на всю Европу...

Мне показалось, что Василий Митрофанович сейчас начнет жаловаться, сетовать на несправедливость. Статью эту я читал. Кошелек признан во всем мире, а об изобретателе ни слова. Это побудило меня покопаться в своих архивах, и люди когда-то знаменитого сейнера «Киров» ожили передо мной. Разыскал я потом на теплоходе «Симеиз» и капитана Владимира Крыхту. Ему еще только чуть за сорок, у него спокойное, мужественное лицо, с которого никогда не сходит морской загар. На крупной голове ловко сидит синий берет с крабом, ему очень к лицу капитанская куртка с погончиками.

О чем бы мы ни говорили, мы снова и снова возвращались к тем памятным временам.

— Овчар всегда ходил с узелком в кармане, — улыбаясь, вспоминает Владимир Крыхта. — Головастый мужик! Устремленный человек! — многозначительно заключил он.

Мы стояли на причале возле чугунных швартовых тумб, море обдавало нас свежестью и пароходным дымком. Порт размашисто приветствовал железными руками гигантских кранов.

— Пойдем к Сергею Остапенко, — предложил я Крыхте.

— В отпуске он, — ответил Владимир Федотович. — А надо бы повидать Сергея Сергеевича и вместе навестись к Овчару.

Разговор наш оборвался на полуслове. Залитый вечерним светом, из-за штормовой вышки появился новый буксир-гигант «Антей» и могучим басовитым гудком оповестил о своем прибытии шумных, веселых отдыхающих на набережной.

СОДЕРЖАНИЕ

На побывке	3
Незабываемое	22
Кошелек	45

Павел Ильич Федоров
НА ПОБЫВКЕ

Редактор Ю. С. Новиков.

Технический редактор З. П. Кузнецова.

Сдано в набор 29.01.80. Подписано к печати 21.04.80. А 00352.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Новогазетная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,03.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 1040. Зак. 1925. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды». 24.



СТРАХОВАНИЕ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ

Свадебное страхование должно заинтересовать многих людей, заботящихся о будущем своих детей, внуков и племянников.

Родители, бабушки и дедушки, тети и дяди, заключив договор страхования, получают возможность сделать соответствующие накопления к такому важному и торжественному событию в жизни юноши или девушки, как вступление в брак.

Предусмотренная договором страховая сумма выплачивается юноше или девушке по истечении срока страхования, но не ранее того дня, когда будет зарегистрирован брак.

Уважаемые товарищи!

Для заключения договора обращайтесь, пожалуйста, к агенту, который обслуживает Вас по месту работы или жительства.